

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 38

1987



*Валерий ЗОЛОТУХИН*

**ЗЕМЛЯКИ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 38

Валерий ЗОЛОТУХИН

## ЗЕМЛЯКИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1987

## Валерий ЗОЛОТУХИН

*Валерий Сергеевич Золотухин родился в 1941 году в селе Быстрый Исток Алтайского края. Участвовал в освоении целинных и залежных земель. В 1963 году окончил факультет музыкальной комедии ГИТИСа им. А. В. Луначарского в Москве и был принят в труппу Театра им. Моссовета. С 1964 года — артист Московского театра драмы и комедии на Таганке. Заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Пакет», «Хозяин тайги», «Бумбараши», «Человек с аккордеоном», «Единственная», «Чичерин» и др.*

*В 1978 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла его первая книга «На Исток-речушку к детству моему», в 1984 году в издательстве «Современник» — вторая книга «Печаль и смех моих крылечек».*

## ЗЕМЛЯКИ

В мрачные дни, а они у всех случаются, всякому живому человеку мерещится, что жизнь его собственная склепана сплошь из звеньев ошибок и лжи. Воображается подобное нередко и мне. В такие часы болезненно и скрупулезно перелистываешь свои прошлые дни, торопливо прозваниваешь кабель судьбы на повреждение и зачастую в отчаянии и страхе принимаешь частную ошибку за горе жизни, за неистребимую печаль. Ну в самом деле, горе уж такое, что ли, если ты ездил на автомобиле без масла, запорол двигатель, стукнулся о другой автомобиль и ремонт обошелся тебе в половину стоимости всего движущегося агрегата?! Да ерунда по сравнению с тем, что сыну вывели в четверти двойки по алгебре и геометрии и ты не знаешь, что делать, как спастись, будто ты сам у доски и на тебя смотрят весь класс, родители, учителя и зрители, а ты забыл текст и всем мешаешь жить и учиться, ты всех тянешь вниз, и нет у тебя выхода вверх. Иные оплошности разрастаются до опасности зловещей опухоли, превращаются в хроническую боль, от которой избавиться можно, говорят, лишь поделившись ею с другими.

Так, я не бросил горсть земли на гроб моего партнера и друга. Я был занят тем, что, сцепившись локтями с другими организаторами похорон, сдерживал толпу, рвущуюся к гробу. А когда двинулся к могиле сам, теми же локтями всех расталкивая, на месте ямы вырос холм, придавленный горой из цветов и венков. Я не успел. Моей горсти в этом холме нет, и оттого тошно мне, что-то скользкое прикасается к моему сердцу и пробует его ядом, когда память в ненастные дни возвращает мне эту оплошность.

Другая боль, в которой и признаться стыдно, — я обокрал себя, пропустив в свое время явление Шукшина, читая его мало и невнимательно. Пропустил почти сознательно, следя за ним издалека, на расстоянии, уши мои да не слышали, хотя наши села друг от друга в семидесяти верстах. Я не удосужился познакомиться с Василием Макаровичем, хотя мы однажды гримировались в одной уборной на «Мосфильме» и как коллеги поздоровались врасплох, столкнувшись в дверях. Он заканчивал работу над «Калиной»... А я стеснялся к нему подойти, таким он казался мне

серьезным, сердитым, к себе не допускающим. Впрочем, странно, но я видел его живого всего один раз. Второй раз я увидел его уже теплоходом на Оби. Он ходко шел в свою сторону, к Бийску, мимо нашего села. Но и тут мои глаза не прозрели. Я робел его живым и был «гордыней обуйный» по молодости: ждал, когда сам сделаю что-нибудь путное, чтоб прийти к нему на знакомство не с пустыми руками. И опоздал...

Земляки — это почти родня, если другой родни нет, говорит народ. Если это так (а это так), то Василий Макарович самый богатый на родню человек, потому что читатели и зрители у нас и за пределами наших земель волею его могучего таланта стали его «земляками», освоили его Алтай. В этом я сто раз убедился воочию на Пикет-горе в июле 1979 года на Шукшинских чтениях в честь пятидесятилетия со дня рождения писателя. И опять же земляки меня на то сподобили. Сам-то я, глядишь, и не оторвался бы от своего корыта, дел, семьи и семов.

В разгар сезона, в январе, спектакль играть начинать, а мне говорят: «Вас на выходе родня ждет, шестнадцать человек». «Что за шутки?» «Нет, всерьез. А старшая говорит — за одной партой с вами сидела». Иду, гляжу... Стоят, прильнув к стеклу, пятнадцать ребятишек — мальчишек и девочек, моих алтайцев. Их не спутаешь ни с рязанскими, ни с вологодскими лицами, девятиклассники из села Повалихи, мои земляки, моя «родня». Их привезла в Москву, привела в театр классный руководитель Валентина Дмитриевна Строгова, с которой я никогда ни на какой парте не сидел. — мы из разных деревень... «Вот, ребята... победители... лучший класс... на заработанные в колхозе деньги... Куда — к земляку... в театр... днем у Шукшина были... на Новодевичьем... тоже не пускали... строго... но все же пустили...»

Куда же еще, господи? Конечно, правильно, к земляку, только что же делать, шестнадцать человек в дефицитный театр!! Что же делать? А делать ничего не надо. Надо, чтобы они увидели театр, посмотрели спектакль, рассказали дома, чем занимается их земляк в столице. Как быть? Отпустить с миром, дескать, не могу, ребята, поздно, предупредить надо? Нет, не поймут и не поверят. Нет, не могу отказать и понимаю, что хоть камни с неба, а в театре они должны быть с е г о д н я. «Днем у Шукшина были, а вечером к живому земляку». Бегу к директору. Тот аж оторопел. «Ты что, друг любезный, офонарел?.. Куда же я их растолкаю, ораву такую, меня же пожарники оштрафуют!..» «Но ведь дети не в зоосад, не на хоккей — в театр просятся». Так кричу, почти что плачу, как Теркин говорил. Заявляю вдруг — другого не подвернулось ничего: «Не выйду на сцену, без них спектакля не начну!»

Не мой ультиматум, конечно, убедил директора пойти на противопожарное нарушение, а мое состояние и его чутье человеческое. Каким-то чудом — девочек в зале, мальчишек на балконе — устроил моих земляков директор на спектакль «10 дней, которые потрясли мир». Однако пожарные в театре тоже не дремали, доложили куда надо,

и в антракте я предстал перед грозными глазами главного районного пожарного. «Что вы себе, товарищ артист, позволяете? Если каждый начнет приводить свою родню в неограниченном количестве штук...» — дальше громче и страшнее... Я было тоже хотел в лай пуститься: не в ресторан пришли же дети и не только о пожаре печься надо, но и о воспитании поколения. Потом подумал: чего ради? Спектакль ребятишки смотрят, дело в шляпе, а ему не объяснишь,.. и директор уже выложил из собственного кармана пятьдесят рубчиков штрафу... семь бед — один ответ... После спектакля усадил я их в пустом полутемном партере и стал рассказывать, что такое есть собственно Театр на Таганке, как он был создан и чем отличается от других, и почему Академический театр им. Моссовета я променял на этот маленький, деревянный, который стал моей судьбою, моими крылечками в столице, моим главным делом.

Я рассказывал им про Гамлета Владимира Высоцкого, про его честную и добрую поэзию и про то, что он никогда не сидел в тюрьме — ни здесь, ни за рубежом, у него «не было на то времени». Я пел им, выкатив рояль на середину, Северянина и Вертинского, из «Бумбараша» и Моцарта. Вспоминал, как жевал сургуч в «Пакете», как летал Бумбарашем на воздушном шаре в одних подштанниках... и шел снег... Как плевал в осинку в болоте, где просидел, не вылезая, пять часов, а потом с меня сняли шесть пиваков, и почему Моцарт с такой определенностью говорит Сальери: «Довольно, сыт я...» — сыт угощением, вином, друзьями... жизнью... Они спрашивали меня про мою жизнь, и я рассказывал про нее все, что знал... И, конечно, долгий разговор про Василия Макаровича Шукшина. Шел год его пятидесятилетия, они собирались в июле в Сростки пешком на чтения и звали меня. Щедрый и богатый был вечер для всех.

На прощание впихнули они мне в такси все, что взяла для меня в неблизкую дорогу, — картошку, грузди, калину пареную, четверти облепихи и брусники, водой залитые, кедровую ветку с шишками и каравай. И все это, как сказала Валентина Дмитриевна, ребятишки собирали сами, солили, парили, пекли. И даже выжили рушник.

Как они обогрели меня и помогли с духом собраться — мне тогда было шибко не по себе. Вовремя они оказались рядом. А все она. Учительница, что приняла их четвероклашками, наставляла, учила русскому языку, литературе и жизни — делала их души. Маршрут у них был иной, но она повернула его к воротам Новодевичьего монастыря, вела дипломатию с охраной и... уговорила. «Там много священных могил... но нам надо нашу, родную... Мы знаем, ему будет приятно, а нам полезно, поверьте нам...» И ее вере поверила даже строгая московская милиция.

Говорят, чтоб ребенок уродился приглядным, беременной полезно чаще созерцать красивое и изящное... И Валентина Дмитриевна учительским даром своим изо дня в день терпеливо и изобретательно разворачивала глаза и уши своих питомцев на дела добрые, слова и поступки

сердечные, чтоб сердца и души их смолоду как можно богаче напитались соками этих животворящих качеств. Дар учителя... Можно в человеке распознать способность к живописи, математике, музыке, театру... Можно научить человека в нужных местах круглить запятые. А как распознать способность выращивать в человеке человека?! Дар. И, как со всяким даром, с ним рождаются, тому ни в каких мастерских не научают. А как живетса нынешней сельской учительнице, что она так щедро дарит свое сердце и время чужим детям?

Приведу «избранные места из переписки» с моей бывшей учительницей. Фамилию опущу, а то еще заругает. Земляки не любят, когда выносят сор из их избы. «Места...» в основном я выбрал нарочно печальные и разных лет, но это печали моих крылечек. Веселое и счастливое при нас останется, а печали хочется, чтоб убывали скорее. Ныне моя учительница также преподает, а заодно директорствует; вернее, директорствует, а заодно преподает... Так вот...

1. «Учителями должны быть лучшие люди нации», — кто-то сказал. Я-то согласна, кто спорит. Среди нас есть лучшие люди нации, да кто про то ведает? Кто помогает? Ладно помогает, — кто хоть сочувствует — директору школы, учительнице, члену исполкома, матери двух сыновей, хозяйке одной коровы, борова, петуха, девяти кур и мужа? Конечно, можно все стянуть, но я этого не сделаю. Пусть я упаду. Но все чаще и чаще мысль навещает: бросить свое директорство, нет больше сил, ума и умения. В самой школе, в главном для меня — по учебным показателям — почти нормально, мы многие школы опередили... Это при том, что сотни уроков пропадают из-за свеклы и других работ. Район говорит: «Подумаешь, уроки... Свеклу обеспечите — а там учитесь». Кого слушать? Как думаешь? Одних березовых почек пятнадцать килограммов набрали! Да ты сто граммов набери, артист! Третий год ходим кирпич разгружать для нового райисполкома (старый-то сторел, я тебе писала), а теперь каждую неделю на ферме помогаем санитарный день проводить. А уроки? Благо теперь с нас высшего образования не требуют, а только трактористов, на СПТУ ориентируют. Ну, до ста и даже до тысячи мы их считать научим. Правда, через несколько лет взвоют вузы. Московские попозже, а Бийский пединститут уже. Но, как говорится, недостатки надо прочно заложить сегодня, чтоб потом было чего исправлять. На некоторые частности исправления демографической политики я обратила внимание в «Песне-81»: «Я у бабушки живу, и нет сестренки, нет братишки у меня». Да и в журналах появились заголовки: «Не меньше трех» (детей то есть) ...А сколько нашу сестру отучали от этого, соблазняя и «Девушкой с характером», и «Дочерью моряка», и заочной учебкой?.. До сих пор мы агитируем девчонок на трактор... Эмансипация должна быть, но... Хотя на моем фронте: есть такие огневые точки, где мужику стоять надо...»

2. «...с кочегарами совсем смерть. Чистые алкаши, чуть не каждый день ЧП в кочегарке. Напьется, трубы разморозит, а уволить — где дру-

гого взять... Вот сейчас из системы вода уходит, найти не можем — куда. Да и кому искать? Я каждую ночь вижу во сне свою кочегарку и ищу утечку воды. Эта система меня в могилу сведет... Как бы до весны дожить. Бросаю уроки, подключаюсь за завхоза, чтоб могли давать уроки другие. А ведь и в уроках директор должен быть не хуже других. Иначе учителя начнут халтурить. И почитать надо, и кино поглядеть, и корову вовремя подоить...»

3. «...недавно похоронили Баркалова Василия Яковлевича, нашего завхоза. Два года побыл на пенсии всего, свалила она его, «родимая». Он был силен, а водка сильнее его. Смертей от нее... Ты его должен помнить. Он у твоего отца в колхозе бригадиром был. Был он и комбайнером и председателем сельсовета. Мог позволить себе на коне верхом на второй этаж в райисполком въехать и другие выходки. Но я была за ним как за каменной стеной, для него препятствий не было. «До смерти работал и до полусмерти пил». К чему я о нем пишу? Странные чувства возникают на кладбище. Все больше и больше знакомого люда там появляется. Идешь туда, как на собрание. Раньше мы бегали по кладбищу, задевали ногами чьи-то могилы, а теперь... У входа могила Героя Советского Союза Савельева... Мы с ним не только были знакомы, но и дружили... А вот директор Приобского совхоза Гузов А. А. Мы с ним на свекольные плантации часто смотреть ездили, а вот друг Юров Т. С., с ним в предгорных поселках мед покупали... Недалеко от них учителя Шураковы и твоя тетушка, великая общественница и защитница Елена Федосеевна... И так уже полкладбища. Даже ученики мои есть... Недалеко восточные люди не уходили далеко от родного кладбища. Зачем это я пишу? Дома лучше. А дети мои в Москве квартиры получили. Видишь, куда повернули меня наши могилки — аж к московскому крематорию...»

4. «...мы тут к тебе в Москву экспедицию снарядили из нескольких толковых ребятшек. Создали они при Доме культуры инструментально-вокальный ансамбль «Русь». Надо сказать, неплохо у них получается, когда они на фермах выступают — удои повышаются. Но инструменты у них никуда не годятся, и не хватает их. Выделил им сахарный завод денег на приобретение дефицитных инструментов. Нужны: тромбон-тенора, трубы «Консул» или «Сенатор», чешский или западногерманский электроорган. Дорогой земляк, без тебя в Москве они эти инструменты не достанут, их по каким-то разнарядкам по городским ансамблям распределяют, а нашим они «позарез», как говорят. Сделай доброе дело для своего села, оснасти наш оркестр западными трубами... У тебя наверняка есть блат на какой-нибудь базе, а не у тебя, так у твоих более знаменитых коллег... Надо, надо... Напрягись. И с ними будет паренек от ДОСААФ, помоги ему достать пар десять пластиковых лыж. Это же стыд-позор: на соревнования в край подчас на самодельных лы-

жах ребятишек отправляем... Значит, трубы и лыжи за тобой, а спать они на полу привычны... народ крепкий, наши».

5. «...слушай, дорогой артист, а почему бы тебе не написать сценарий о сельской учительнице? Сельская учительница Марецкой (среди шумного бала) давно ушла в прошлое, теперь сельская учительница другая (имеет корову и доить умеет). Взял бы за основу нас с Элеонорой да добавил бы Веру Григорьевну... Выбросил бы недостатки, подчеркнул достоинства... Только чтоб мораль не из нытья вызрела — из радости. Ныть мы и сами умеем. Смеяться будешь, ну и смейся. Мне далеко... не слышно...»

Писем много. В них много всякого про жизнь моего села. Но есть одна забота, одна печаль всех печальнее, одна проблема, гибель несущая, и моя учительница редко в каком письме обходит ее.

Когда-то, лет двадцать назад, в каких-то горячих, приезжих головах такая идея вызрела: перенести село Быстрый Исток со всеми потрохами от Оби километров за семь на горя, на пески по причине наводнений больших и малых, но раз в десять лет действительно приносящих ущерб бедственный. И решение пришло простое: да чего мучиться, головы ломать, берега крепить? Да заложить враз и навсегда капитальный поселок с городскими домами, с городской системой и постепенно перетасать туда всех быстрян. Поселок заложили и назвали Приобским. Стали строить и беды копить дополнительные. Зная, что я собираюсь на Шукшинские чтения и там наверняка повстречаюсь с руководителями края, учительница умоляла меня передать просьбу всех быстрян: прекратить строительство поселка Приобский, вернуть финансы на капитальное Быстрому Истоку и не дать ему исчезнуть с лица земли. «И здесь строительство прекратилось, и там добра мало. Огородов нет, да на песке и не растет ничего. Воду возят, поливать нечем, постоянные перебои с водой. Там селятся больше молодые семьи — в готовую квартиру въехать легко... Но прекратить строительство не так-то просто. Какие деньги ухлопаны... Это вопрос республиканский... Загляни в край, побей за нас себя в грудь, может, тебя послушают... Ты теперь на юру...»

И поехал я Шукшину поклониться на Пикет-гору и заодно начальству челом ударить за село свое, чтоб не сгибло оно по глупости действительно, да и в само село проскочить к старшему брату, а там, глядишь, и босиком пройтись до крылечка родного и проданного давно.

Ох, не все заботы я перечислил, что предстояло мне за четыре дня, на все отпущенных, исполнить. Затосковала душа моя по Чемалу, что по Чуйскому тракту от Сросток далеко и где я пролежал в детском костно-туберкулезном санатории, три года не вставая, с семи до десяти лет, — заглянуть в санаторное детство мое. А так как эту задачу, скажу сразу, я не выполнил, я расскажу про Чемал немного сейчас, пока мы ранним утром едем с братом и земляком из Белокурихи на машине в Сростки. Мы едем из Бийска, где брат меня ждал трое суток нелетных.

## ЧЕМАЛ

В жемчужной красоте долины рек Катуня и Чемала, у южного подножия каменистого холма Бишпек, приютилась здравница, в которой я прожил три лежачих года моего санаторного детства. История возникновения санатория невероятно трагическая, и найдется ли писатель, что возьмется за эту тему, у которого выдержит сердце до конца рассказа поддержать перо с допустимой долей реальности.

К августу 1942 года из блокадного, сражающегося Ленинграда были вырваны сотни больных, ослабленных детей. И через всю страну в горный, сосновый, целительный Алтай потянулся эшелон милосердия ленинградских лежачих ребятишек. Врачей мало. Медикаменты для фронта. Немногие ребятишки могли передвигаться сами. Большинство поражены костным туберкулезом, менингитом... Больше месяца дороги! Кто без содрогания может представить себе тот путь, страдания и гибель беспомощных детей, бессонное напряжение и боль за них старших, которые и десятки лет после этого пути отказываются вспоминать и рассказывать о нем, — сил не хватает.

Что за удивительные люди ленинградские врачи, их местные помощники и сподвижники, которые за два года из прибывших в Чемал двухсот сорока семи ребят подняли на ноги, вылечили и подготовили к выписке сто тридцать два человека? И в каких условиях — когда жилье дома, а то и бараки срочно превращались в лечебные корпуса, а единственным транспортным средством являлся бык Степка. Меня мама привезла в Чемал в 1948 году, и тогда Степка все еще оставался главным ответственным за все перевозки. Потом дирекция санатория обратилась лично к Буденному, и санаторию была придана пара лошадей. Каким теплом согревал персонал своих пациентов, выписав за два года больше половины, если и после шести лет существования здравницы окна наших палат на зиму забивались досками, засыпались опилками, зашивались одеялами и географическими картами, оставались одно-два или небольшие просветы наверху каждого... Наши палаты были нам спальнями и кинозалами, банями и школьными классами... Нас лечили и учили грамоте...

Помню изолятор. Лежу на койке, прикрученный фиксатором. Нога подвешена, через деревянные колесики-блоки вытягивается мешочками с песком. Мама в окно заглядывает. Она уезжает. Она говорит, что устроила меня в школу. С сентября меня переведут в общую палату и будут учить читать и писать. Я пойду лежа в первый класс. Она уговорила врачей. «Здесь начинают учить с восьми лет, но ты способный, я им сказала». Знаю, как она им сказала. Ничего она им не сказала, только плакала и причитала, что мне нельзя терять год.

До сих пор я слышу стук каблучков моего лечащего врача Антони-

ны Яковлевны Сайковой, стук моей ежечасной надежды на выписку. Эти каблучки я различу и сейчас из тысячи звуков, из сотен других каблучков... Маленькая, тоненькая, в белоснежном крахмальном халатике и колпачке, в туфельках на высоких каблучках, в любую стужу и жару она цокает ко мне, чтобы своими сильными цепкими пальцами в который раз ощупать мое колено и простукать мои позвонки. Ей было двадцать два года, когда она приехала врачом-ординатором в санаторий после окончания института. Год лечила одна. Потом пришли еще два молодых специалиста. Гипса не хватало. Не было еще и антибиотиков. Лечение затягивалось. Но вот произошла революция — санаторий получил первый пенициллин, а вскоре и стрептомицин. Этих лекарств было еще очень мало — берегли каждый грамм. Нас лечили, учили и баюкали сказками. Трещит, шумит огонь в «голландке», и дежурная нянечка, обходя каждого, подтыкая одеяло и поправляя подушки, мурлычет сонно про кота, что ходит и ходит вокруг дуба, который уж век... А другая нянечка, проделывая ту же процедуру, рассказывает, как она воевала, вытаскивала из-под бомбежки раненых, и обещает показать настоящие медали... Нам наряжали елку и, аккуратно завернув в одеяла и простыни, сносили в большую палату. Елка была для маленьких и для больших, и был Дед Мороз, и у него были для нас подарки, а у нас для него песни и загадки, стихи и прибаутки. Мы все были привязаны фиксаторами, из нас никто не ходил (ходячих быстро выписывали), но мы были пионерами, давали клятву, и нам повязывали красные галстуки и устраивали пионерские сборы и даже костры, стаскав пионерию из разных палат в одну дружинную кучу... И были у нас хулиганы, свои Мишки Квакины, да и все, поддавшись, безобразничали подчас не в меру: ловили мышей на ниточные петли, развязав друг другу фиксаторы, сушили сухари, запрыгивали в матрасы, подвешивали в мешочках часть еды под кроватями, готовясь к предстоящим побегам, разведая перед тем, в какой уборной хранятся костыли. И не обошла нас беда. Клевета подстерегла главного врача, хирурга, что приехал через всю страну с ленинградскими ребятишками, организовывал санаторий... И мы видели, догадываясь по обрывкам коридорных фраз, как горевал персонал, лишившись вожака, и вся тяжесть лечебных и хозяйственных забот свалилась на тонкие каблучки Антонины Яковлевны.

Первая учительница... Мария Трофимовна Устюгова учила меня все три санаторных года. У нее останавливалась всегда моя мама, когда приезжала навещать меня. Мы выводили палочки, буквы, цифры, положили под тетрадки буквари. От девчонок нас отделяла большая черная доска, вертящаяся по оси. Мария Трофимовна одновременно давала уроки за первый, второй и третий классы — в палате мы были разного возраста. Коллектив санатория жил одной семьей, одними заботами... И я помню, что учительница подчас была и за нянечку, дежурила по ночам в палате, а когда заболела учительница, приходила от нее медсестра и прочиты-

вала каждому его домашнее задание. Сообща переживали все беды, жили и трудились хорошей коммуной — от главврача до сторожа-инвалида. Рыли канализацию, обсаживали территорию малиной, смородиной, облепихой и георгинами, возили воду впрок, заготавливали дрова — рубили лес на горах, трелевали его вниз, пилили и свозили к санаторию, неподалеку от которого под ветром уже хрюкало и мычало подсобное хозяйство, а слепой баянист Иосиф Петрович Завьялов пел нам про павший Порт-Артур и разучивал с нами новые пионерские песни. Из гипсовых отходов кто-то мастерил смешные тельца зверячьих детишков, они тут же разбегались по всему санаторию, возникая вдруг в самых неожиданных уголках дозволенного пространства. А когда наши палаты расцвечивались горящими флажками огоньков, наполнялись подснежниками и багульником, мы знали — родители вторые наши ходили на горные поляны, к водопаду отдыхать и помнили про нас. Таков был климат, заведенный главным врачом еще с ленинградского эшелона, таким его сохранили коллеги и после него. Нас лечили, учили грамоте и приобщали невольно и сообща к сердечности и доброте.

Чемал, Чемал — санаторное детство мое! Я к тебе еще вернусь, быть может, а пока на пути моем Сrostки... Шукшинские чтения...

## СРОСТКИ

Что поразило меня на этом пути — внимание милиции на всех тридцати шести километрах тракта от Бийска до Сrostок. Такого количества охраны порядка я нечасто наблюдал и на правительственных трассах в Москве при встречах какого-нибудь важного визитера. Потом я понял... и мне рассказали, почему были приняты такие чрезвычайные меры предосторожности. Забегая вперед, скажу, что в самих Сrostках во всех магазинах спиртное за три дня было изъято и опечатано под тремя замками, и не продавалось никому — ни местным катунским жителям, ни заезжим знаменитостям. Это было предпринято, очевидно, исходя из опыта предыдущих чтений, когда одуревшие от хмеля мужики доказывали свою любовь к Макарычу кулаками...

А на заднем сиденье без умолку молотил языком земляк из Белокурихи: «Чего загрустил, Сергеич? Смотри, гляди, наблюдай, как нас охраняют — будто на маевку собираемся. Запоминай, детям расскажешь...» И в самом деле, все, что потом на горé происходило, говорилось и слышалось, неотвязно напоминало грандиозный сабантуй, люди сошлись, съехались, слетелись добровольно, за свой счет (не считая президиума) высказаться, выговориться про жизнь... Сказать слово вольное на вольном просторе. А машины шли и шли... На тракте становилось тесно. «Обрати внимание на номера, земляк... со всех концов, со всех республик, все флаги в гости...» И правда, черт возьми! Магадане, молдаване, грузины, прибалты... Владивосток и Мурманск, не говоря про Сибирь-матушку... Я не ве-

рил глазам своим. Эти машины пришли своим ходом. А сколько народу пешком идет! Куда?! На Алтай! Черт знает в какую даль — в Сростки... поклониться писателю, который искал правду и умел сказать ее коротко, внятно, по сердцу...

В восемь часов утра мы стояли у школы имени В. М. Шукшина. Напротив — здание старой школы, где учился Василий, потом сам учил и директорствовал некоторое время. Земляк из Белокурихи, Витя Ащелов, бывавший здесь часто, повел нас к дому, что готовился через несколько часов стать музеем писателя, актера и режиссера Шукшина. Дом этот каменный, пятистенный, Шукшин купил для матери Марии Сергеевны, мечтая и сам когда-нибудь вернуться в него, пожить и поработать за столом со стопкой белой бумаги. Не дождалась Мария Сергеевна этого часа, продала дом, уехала сама в город, а когда дому выпало стать музеем, хозяева уступили его государству.

У Катуня спустились к камушку, на котором любил сидеть Василий Макарович и думать думушку. Прошли ливневые дожди, и Катунь кипела мутью. Мощная река. К слову сказать, четыре пятых воды в Оби до Новосибирска — воды катунской.

К одиннадцати часам на Пикете собралась тьма народу. Как потом выяснилось, по приблизительным подсчетам, около пятнадцати тысяч. Не хватало только моих пятнадцати повалихинских ребятишек. Они шли пешком и ошиблись днем. Открылась торговля. Гудел книжный базар, торможились выездные ларьки, буфеты, лавки. Играла музыка. По горе бродили известные писатели, смущенно ставя автографы на своих и чужих книжках. Мужики наяривали на гармошках, девки плясали, задоря друг друга забористыми припевками, мальчишки носились телятами, собирая автографы и пустые бутылки из-под газированной воды. Праздник. Чистая ярмарка. Но вот застучали топоры, завизжали пилы, в момент был срублен деревянный помост, напоминавший лобное место или театральные подмостки, над ним возник огромный фотографический портрет Василия Макаровича, президиум занял свои места, и праздник вступил в свой официальный режим. В президиуме руководители края, района, прозаики, поэты, артисты... Весь народ, прибывший, как по знаку, сел на траву Пикета... без лавок и подстилок... Митинг начался. Василию Макаровичу исполнилось бы в этом году пятьдесят лет, но речи ораторов не пахли юбилейным ладаном. Речи были горькие, страстные, незаготовленные. Один оратор зажигался от другого, и все жарче становилось на Пикете, над которым собирались черные грозовые тучи, но никого не напугали они, ни один человек не поднялся уйти. Все ораторы говорили о великом наследии сросткинского художника... Много говорилось о его трудном пути в искусстве, когда чиновники от кино и литературы долго не принимали его и он вынужден был, скитаясь по общегитиям, пробивать каждый свой сценарий, каждый свой фильм лбом, «молотком и зубилом». Не обошлось и без юмора. Квартирный вопрос Шукшина почему-то так часто возникал во мно-

гих речах, что с поля в президиум пришла тревожная записка: «А есть ли квартира у нашего земляка Золотухина?» Впрочем, для меня тогда этот вопрос был совсем не шуточный... Ну, да не в этом суть.

Один оратор возмущался выступлением известного писателя, который по Центральному телевидению объявил, что он-де, видите ли, признает Шукшина, но не разделяет нездорового интереса к его творчеству, ажиотажа вокруг его имени. «Книги Шукшина, — кричал с горы в Москву оратор, — продаются в Чите, я видел своими глазами, на макулатуру, по талонам, как Дюма, Стендаль и По, а ваши там лежат и будут лежать, пока их не скупят для той же макулатуры, чтоб купить книгу Шукшина!» Аплодисменты. Другой оратор в пух и прах крошил легенду о Шукшине как о некоем мужичке в кирзачах: «Человек, сдавший экстерном за десять классов, преподававший историю, русский язык и литературу, без устали читавший и изучавший историю своего народа, денно и нощно занимающийся самообразованием, мало говоривший и много слушающий, лицом и натурой похожий на ту землю, на которой мы присутствуем... Да нет, что вы... Это интеллигентнейший из интеллигентов к моменту создания «Калины красной». Аплодисменты. Товарищ из Калининграда сообщил, что одна из улиц города названа именем Шукшина. И так вышло, что она пересеклась с улицей Степана Разина. Долгие аплодисменты. Национальный алтайский поэт поведал, как он в разговоре с Василием Макаровичем упрекал его в том, что тот в своих фильмах неполно рассказал об Алтае, не засняв ни одного «узкоглазого»... Смех, аплодисменты. «А горноалтайцы, — продолжал свою мысль оратор, — защищали Родину во время войны наряду с украинцами, армянами и другими братьями». Овация. Гость из Чувашии сообщил собравшимся: «Со всей ответственностью заявляю: на чувашскую литературу самое большое влияние оказали Горький, Маяковский и Шукшин». Посланец Украины передал музею Шукшина книгу на украинском языке «Калина червона» и предложил на этой горе, над кручей Катунь, поставить памятник национальному народному глашатаю правды и страданий, как сделали они для своего кобзаря на Тарасовой горе по-над кручею Днепра... Но каждое выступление не обходилось без касательства жизни живого Шукшина — как солоно и тяжело ему было, когда он еще видел, слышал, творил и не думал о Новодевичьем. Слушал я, смотрел на людское поле, и стыдно становилось за себя, вот какое дело. Как на углях сидел я в президиуме (и зачем поперся туда?), перебирая в лихорадке дни и дела свои. Плохо живу, чего там говорить, мелко, суетно... Надо начинать сначала, не выпендриваться, и главное — ни дня во лжи. «Нравственность есть правда». Так-то оно так, чего проще. Да только какой писатель скажет о себе, что он врет? В лучшем случае — ошибался, заблуждался... времена... К правде, к познанию ее иметь надо, однако, пророческую волю и Аввакумову страсть... А так это все разговоры. Василий Макарович, похоже, был близок натурой к подобным типам... Отсюда и мощь, опричь работы и дара.

Много было под этими святыми небесами сказано слов точных и прекрасных, мыслей глубоких и важных высказано... Но все они были как бы за упокой, как бы на похоронах... А мы же на празднике?! Говорилось не для него, конечно (ему ничего уже не нужно, он свое сказал), говорилось, ясное дело, живым и для живых: «Хлеб живым, бумагу живым». И это правильно. Но мне все казалось... что-то не то... Но тут как бы не обидеть кого. Вот до речей, когда пели, плясали, ерничали и каждый веселым словом вспоминал Макарыча, вот то мне казалось сутью чтений... А поминальные речи... что-то не знаю... Ведь дело-то веселое! И все соскакивало с языка пушкинское:

Не пугай нас, милый друг,  
Гроба близким новосельем:  
Право, нам таким бездельем  
Заниматься недосуг.  
Пусть остылой жизни чашу  
Тянет медленно другой:  
Мы ж утратим юность нашу  
Вместе с жизнью дорогой.

Суровая доля у писателя была при жизни, но ведь судьба-то счастливая! Спор-то с судьбою он выиграл! И чего теперь столько лет кряду про квартиру и иные мытарства талдычить? Да кто, извините, из живых и присутствующих не мечтал бы, чтоб вот такая тьма народу к его «крылечкам» пришла поклониться когда-нибудь? Это же какой подвиг для народа надо совершить своим трудом, чтобы такую благодарность заслужить, память подобную по себе оставить! Счастливый он человек, Василий Макарович, ведь тропа-то не зарастает и не зарастет, пока будет стоять Пикет, метаться в скальных ладонях Катунь. Дней для скорби у нас в избытке, а праздники редки, сказала как-то замечательная наша поэтесса. А сегодня праздник у нас... и давайте праздновать, а не хмуриться.

Так примерно я думал тогда на Пикете, то и сказал, когда вышел к микрофону, и закончил слова песней из времен Степана Разина про млад-ясна сокола, что в опаленной степи с вороньем бился.

Не знаю, что стряслось со мной на Пикете... но заметалась моя душа в отчаянии, что не так живу, не там и не то делаю, празднословию и корысти предаюсь... А ведь что-то могу, наверное... не подобное титаническое, но свое, честное, нужное кому-нибудь тоже. И заторопился я к работе, домой. Но в свою деревню, к старшему брату завернуть надо. В Чемал уж не поспею, конечно, а «крылечко» свое повидать обязательно. И попытался не дать ни на какие горя его перетаскивать.

И тут как кто угадал мои мысли. Подошел ко мне второй секретарь крайкома и не спросил — выстрелил, почудилось, за грудки взял:

— Что делать с твоим Быстрым Истоком? Переносить его на горá или нет... Как думаешь? Отвечай.

И я ему в тон: только чуть тише:

— Ни в коем разе, слышите?! Ни в коем случае — это глупость. — И еще тише, заговорщически: — Да вы его и не перенесете... Мужики упрутся...

— Замучил он нас, понимаешь? Приезжай в Барнаул, потолкуем. И перед земляками пора отчитаться.

И пошел секретарь открывать музей Василия Макаровича. А я в режку разъявил — вот это да! Надо же, с артистом, с человеком, оторванным давно от земли, руководитель совет важный держит! А почему нет... Ведь вот Макарыч не отрывался... воевал, а почему я должен быть с краю, когда решается судьба моего села? А вдруг и мое слово в общем хоре прослышится?

У могилы Марьи Сергеевны постояли, поклонились праху ее, за сына поблагодарили. Земляк из Белокурихи загоревал:

— Обещал я покойнице, что на Новодевичьем побываю непременно образом и сына навещу, как только буду в Москве. Она мне землицы пикетской в платок завернула. «Рассыпь», — говорит, — милый, на могиле за всех нас», — а я вот все не соберусь никак.

— Давай, Витек, я свезу землицу, выполню наказ, сдержу твое слово.

— Нет, свое слово я сдержу сам. Уж когда, не знаю, а сдержу сам.

— И то верно. Тогда по коням, в Быстрый...

## У БРАТА

Погода сухая. Мы ехали скоро. Проскочили Смоленское, Усть-Ануй, Старотырышкино и горями быстро стали приближаться к родному селу, вернее, пока еще к его «пасынку», поселку Приобский...

Года три назад приезжал я также к брату в гости (в тот приезд как раз я и повстречал Шукшина теплоходом на Оби). Тогдашний руководитель района привозил меня сюда, на горá, показывал поселок, говорил о трудностях, преодолеваемых тем не менее, о перспективах... Постояли мы и у мемориала, что сооружен в память павших и обсажен навесистыми березами. Похоже, руководитель гордился своим детищем, считая поселок, быть может, главной заботой своей, безусловно, полезной деятельности. На мой вопрос: «А вода?» — ответил: «Ищем... а тот, кто ищет... тот известен... Пока привозим». «Не поздно искать собрались?» — подумал я. — Дома-то отгрохали, что твои Черемушки, а воду... ищут. Ну, да ведь знают, чего делают, им видней, на местах законы скорые, стало быть, и край поддерживает и мужики местные в согласии.

Начинание солидное, с размахом задуманное, и сделано вона сколько, однако брату я не посоветую сюда забираться, нет, не посоветую... Его веку хватит там, у реки. А заберется, пусть в гости не зовет».

Это было три года назад. А нынче... Застал я брата за привычным крестьянским делом: новое корыто свиньям ладил, которых к зиме держит. Затопили баню. Сели курить в огороде, я и спрашиваю ехидно: «Ну что, Иван Сергеевич, когда думаешь со своими свиньями на горя эвакуироваться? Может, помошъ требуется, так прилечу». «А мне зачем в эти «каракумы» забираться? Мои свиньи через два дня сдохнут там без воды. А тут ты вон два раза качнул — и на семь мужиков баню истопил. Это же надо додуматься: деревню от реки в пески тащить. Скот орет, иной раз по три дня не поен. Воду возить, хлеб возить, на работу возить... А где техника? Да мыслимо ли это дело? Ладно. Стали скважину бурить, воду добывать, еще тогда... А там пливун, один пливун, он жидкий, а воду-то не возьмешь, он обманул их, понимаешь? Ты глядел у меня огород, чё в нем только нет, язви тебя, от тропических до северных культур. Это же земля! Жердь воткни — лук вырастет. Мы на горях только картошку сажали. Помните, я вас туда на велосипеде отвозил, с тяпками? А теперь мне говорят: ты живи там, а сюда тяпать ходи! Ну? Это как понимать? Там живи... Вон изба... Она двадцать лет простояла и еще тридцать простоит, а тронь я ее? Да разве я ее соберу на песке? Опять же так... наводнения боятся, а мосты завалили?! Ведь раньше в одном Быстром Истоке только двенадцать мостов было: там мост... там мост... там... А почему? Зачем мужики рубили в селе столько мостов? Не только для проезда. А чтоб воде было куда отступать. Вход она без тебя найдет, ты ей выход организуй. Есть вход, должен быть и выход. А тут... бульдозерами — раз и завалили. Она вошла, а деваться ей некуда, поймали — она и стоит, киснет. Я картошку сажаю, а Павел Николаевич еще плавает, ну к чему это? Асфальт — хорошо! Но ты мосты-то не заваливай. Это же естественный, природой обусловленный проток, мужики-то раньше не дурнее нас были. А этим что, они не местные, им тут не жить. Они «наруководили» да уехали. А нам тут жить, и детям нашим жить. Или вот: они больницу на горя перетащили! Мыслимое ли дело? Бабе рожать — волоки ее за семь километров на горя. А на чем, на себе, что ли? В Петропавловке рядом колхоз три мельницы построил. Сначала дробили для скота, через год приобрели другие валцы, стали молотъ третий сорт, через год — второй, в прошлом — подкупили оборудование, на блины муку гонят. А у нас единственную хотели в Смоленское отдать. Уж оборудование отвезли, рамы оконные стали выставлять, да хватились — чуть район без хлеба не оставили. Печь-то не из чего, муки нет, из Смоленки хотели муку возить! А она, эта мельница наша, добрая была, она район мукой обеспечивала, и колхозники себе мололи. И опять же почему? В Петропавловке мужики местные, они там выросли, они там живут и жить собираются, потому они и материально и морально живут лучше. А тут что получилось?

Смуту и уныние у людей посеяли: многие стали сниматься с места, по разным углам бежать, у кого где приют — родные, знакомые, кто где кому какую жизнь посулит, а другие просто забросили свои хозяйства, двory: чего, дескать, спину ломать, когда все равно, вроде того, что тут не жить. Видишь ты, какая гниль-то вместо морали получилась. И выходит, что эта чумная затея с горями хуже наводнения. Мужики-то, кто помудрее, понимали и понимают, что это со временем лопнет, оно и лопнуло уже, считай. Видишь, какой себе сосед домина капитальный отлил? Куда он его потащит? Значит, жить здесь собирается, да и не он один. Едем дальше, гляди сюда, чего выдумали: для того чтобы заставить людей на горях строиться, — отменили страховку... Раньше бывало как? У тебя погреб затопило — на тебе пятерку, кот у тебя утоп — на тебе троак. А теперь: мы, дескать, вас предупреждали, стройтесь на горях, так что теперь вы ничего не получите. Да ты здесь порядок наведи, подыми упавшее село, оно само этот несчастный поселок за волосы к жизни вытянет. Все хотя́т — раз! И медаль на грудь. Мемориал отгрохали, четырехгодовалые березы в песок воткнули... Ну и что? Ну и засохли... Потом возьми: сахарный завод свой кусок берега крепит, нефтебаза крепит, «Заготзерно» крепит, пристань крепит... там осталось-то всего ничего. Так почему же раньше-то нельзя было всех организовать, миром подняться да в дамбу денежки вложить, если лишние, а не затевать черт те чё ни поपालо. Быстрому Истоку, считай, уже двести с лишним лет. И ты погляди — ни одно селение не стоит на песках или в местах, где не протекала бы мало-мальская речушка. Эти речушки и Обь питают и ею очищаются, потому и текут вечно. Наводнением пугают... Да мне иной раз, правду сказать, для разнообразия жизни и интересно к крыльцу на лодке подгрести... А что? Чем не Венеция раз в десять лет? Ленинград, считай, каждый год топит, а его не переносят, а выносят постановления: крепить берега. А мы что, вшивые, — нас в «каракумы» тащить? Быстрый Исток, он на водной магистрали заложен, он на Оби стоит, он стратегическое значение имеет, он...»

Тут я прерву моего брата, кажется, я сам начинаю за него говорить, тем более что упрек «им тут не жить» и по мне чиркнул краем.

Следующий день мы провели на реке — сначала на Оби, вечером на Петравушке, что почти по самому селу протекает, славной, глубокой, с тихим течением, а потому всегда прогретой речушке. Мне хотелось пройти через все село босиком, как когда-то...

Быть может, через голые пятки земля родная попитала бы еще меня, но я не смел, потому что вырос, большой стал и... «что люди скажут». Сейчас жалею.

Уезжая от родимых крылечек к крыльцу родной Таганки, станция метро которой выложена алтайским мрамором, я думал примерно так. Конечно, Быстрый Исток останется на своем вековом месте. Вопрос этот сейчас решен да и был предрешен объективно, а задним умом горазды все, в том числе и мы с братом. Главное не в этом. Перелистывая

теперь внимательно и без восклицаний эту неоднолетнюю историю, мы обязательно извлечем для себя полезный на будущее корень, необходимый урок. Подобная бестолковщина, лелеемая иногда долгими годами при самых благих намерениях, встречается зачастую и, к сожалению, в самых различных областях нашей жизни... А сколько ее в нашей московской жизни, театральной? Да и во всякой другой?

Встречается, чего шило таить. Тратятся средства, тратятся силы, затрачивается энтузиазм... А глядь — здание-то на песке.

И все-таки в конце я не мог удержаться, чтобы не упрекнуть моих любезных быстрян. Я слышал без конца: «они сделали», «они придумали», «они... они...» Все они... А кто они? О н и — это же вы! А где были вы? Куда смотрели? Чего думали, когда сами делали? Знали и молчали! Где было так называемое общественное мнение раньше? Или моя хата с краю? Или наводнение смыло за моря здравый смысл? Нет, значит, мало мы любили свой Быстрый Исток! В своих несчастьях большею частью виноваты мы сами, а не дядя с тетей. Приступая к любому делу, нам, очевидно, прежде всего полезно помнить, сознать — нам здесь жить! Так будем же рачительными хозяевами своей земли и не станем в младенческом безрассудстве причинять ей столько болей — коль мы знаем, мы решили: нам здесь жить!

«Ты решил в Москве жить, вот и живи на здоровье... Своим делам, своим детям ума дай. А в наших делах мы уж тут как-нибудь без сопливых теперь...»

И то правда, однако... Тогда по коням... тогда в Москву.

## МОГИЛА № 1—3—3

Через год в Москву по зиме, по срединному декабрю, приехал Витя Ащеулов с салом, калиной, облепихой и семечками. «Семечки для присухи: пощелкаешь — и сразу опять на родину потянет». Снабжен он был официальной бумагой, что-де податель сей петиции занимается сбором материалов о Шукшине и о других деятелях литературы и искусства — земляках-алтайцах, и чтоб те, к кому он обратился за помощью, посылить помогли бы ему в его исканиях. А главное, конечно, землю с Пикета привез, что Марья Сергеевна в платочек завернула когда-то.

Гулял мой земляк по столице, заглядывал в театры, в музеи, по людям ходил, знавшим близко Шукшина, дневник вел, а визит свой на кладбище все откладывал — готовился. За два дня до отъезда встретился он в Астраханских банях с людьми алтайскими, сведущими, которые его и наставили, сказав, что так запросто на Новодевичье не пускают, попробуй с милиционером договорись, глядь — и проскочишь. Отложив в своем уме накрепко этот опыт, отправился Витя на следующий день к Василию Макаровичу. Я — на работу. Расстались мы на станции метро «Таганская», что алтайским мрамором отделана, и помчались каждый по своим

кругам. Крутился я, вертелся целый день, прихожу со спектакля, стоит мой земляк посереде прихожей, как замороженный, босиком, руки в брюки и головы не поворачивает.

— Ну как, Витя, ходил к Макарычу, рассыпал землицу?

— Не рассыпал... Не пустили...

— Как?!

— А вот так... Целый день морозный мытарился у ворот, а к Макарычу не проник...

— А ты точно на кладбище ездил?

— А где ж я целый день колыхался?

— Да кто тебя знает! Может, в баре пиво лакал...

— Да бог с тобой! Хошь нарисую, как оно выглядит?.. Стена, значит, красного кирпича, метра в три... ворота железные... за воротами...

— Шучу, шучу...

— Главное, собралось у ворот человек пять-шесть, все из разных мест, и все к Шукшину. «А почему не к Чехову или Маяковскому?» — милиционер нас спрашивает. «Дак и к ним зайдем, если пустите и время будет. А откуда мне, деревенщине, знать, что они здесь тоже лежат, к примеру. А это земляк все же». «А Гоголь, говорит, вам не земляк?» Так слово за слово, а воз ни с места. Партнеры мои, видя такое дело, расходиться стали. А я надежды не терял. Обошел монастырь кругом, дырку искал в стене, лазейку какую... Нет, замуровано надежно. Ох, и обидно стало. Главное, там земляк — ты земляк, а попасть к нему, поди ж ты, не так-то просто. Лежит он себе умиротворенно, среди многих маститых соплеменников и не знает, что земляца материнская рядом в кармане у Витьки Ащеулова за стеной мается...

— Вынул бы из-за пазухи да и показал землю сержанту...

— Да показал, Сергеич, не помогло. А уж когда я ему рубль железный протянул, он меня вообще проигнорировал взглядом...

— Ну, ты догадался, Витя!.. С виду умный парень... Деньги милиционеру совать?! Ты же оскорбил его. Поставь себя на его место!.. За рубль — к Чехову, за два — к Гоголю, да?

— Ты на мое место себя поставь! Мне ж улетать завтра...

— Какого же рожа ты две недели собирался? Ты зачем сюда приехал?!

— Откуда я думал, что такие строгости? Я знал, что кладбище мемориальное там... и прочее... но не до такой же степени...

— Они подшутили над тобой, а ты, простодырина, и поверил.

— Что уж простодырина — это точно. Ты дальше слушай! У меня ведь бумага от писательской организации с собой. А я про нее только к вечеру и вспомнил. И в управление кладбищем с ней. Ясное дело — выписали пропуск без звука! На вот те, думаю... Наконец-то дождался Макарыч земли материнской. С пропуском опять к нему. Взял

он мой пропуск, поглядел на меня подозрительно, на четыре части его — и в урну!

— Ну не может быть! Если пропуск выписан — это документ для всех. Витя, дорогой, он просто заметил, что ты выпивши, — и имел право: еще натворишь чего-нибудь с горя или уснешь в чем-нибудь склепе...

— А что мне было делать! Ветер-то вона какой! У меня сопли к воротам примерзли... Этак, думаю, и простыть можно за здорово ночевали, а приехавши на Алтай, и в больницы слечь и помереть от тоски... московской. Ну, я и ополоснул себе нутро четвертинкой «для сугреву»...

— Одно к одному и получилось: то деньги совал, то... Хорошо, он тебя в вырезатель не сдал.

— Это я уж здесь маненько добавил, пока тебя ждал... Как же я домой-то вернусь, Сергеич? Ведь ясно же, спросят земляки: у Шукшина был, проведаль? Что я им скажу? Что?!

— Не реви зря! Сам виноват. Надо было сразу идти за пропуском в управление, раз у тебя поручение есть, а ты не сообразил вовремя...

— А если человек решил в самом деле Гоголя навестить — у кого ему прикажете путевку оформлять?

— Ладно, не ерпенься, ложись. Утро вечера...

С вопросами без ответов и спать легли. Но сон не шел.

А тут еще жена разнервничалась.

— Как вы надоели мне со своим Алтаем, кто бы знал! Пусть отнесет свое сало на кладбище завтра... Семечки, калину эту идиотскую... Кто это есть у нас будет? Пустят они его! И когда ты только наиграешься в крылечки свои алтайские! Ведь не мальчик давно и не дед еще, чтоб на крылечках время проводить...

До четырех утра ворочался я с боку на бок от грустных мыслей разных, плюнул на бессонницу, встал и, чем лежать потеть и мучиться, начал слоняться из угла в угол в махровом халате с кистями (такого фасона, в каком Василий Макарович командовал разврат-парадом в «Калине красной»).

На стене против рабочего стола моего для чего-то — опять же кому-то в подражание — приколоты мною три бабочки, в разные стороны как бы летящие. Маленький мальчик мой спросил однажды: «Папа, а твои бабочки летают?!» «Как же они могут летать, сынок, когда они засушены?» «А если их поливать, они полетят?!» «Нет, сынок, они засохли навсегда».

Но я вижу во сне иногда, как к ним по ночам прилетают их живые собратья, такие же разные мотыльки и бабочки, ласкают и обнимают мертвых моих. Хотят, очевидно, с собою забрать хотя бы таких, неживых. И я начинаю всех прилетающих прищипливать торопливо и прикалывать весело. А они все летят и летят, а я все прищипливаю и при-

кальваю, и руки кровят от старания. У меня уже нет ни булавок, ни шпилек, ни сил. А они летят и летят, садятся мне на голову и спят глаза!!! Они уже по колено, по грудь... Они засыпают живого меня...

И я кричу во сне: «Мама!» Раздираю глаза и вижу сквозь слезы: на стене все те же три... ненужных и неинтересных мне, приколотых когда-то кому-то в подражание, которое в начале пути простительно, а по сути мертво.

Иногда я кажусь себе такой же вот бабочкой, приколотой к листу или экрану ядовитым пером подражания... «Днем я сниму их и похороню в цветочном горшке, чтоб сны эти закончились».

Слоняясь от бессонницы, вспомнил я и другой сон, что являлся ко мне тоже не раз. Прихожу в театр играть «Дом на набережной» и слышу вдруг по трансляции, что идет «Гамлет», и Гамлета играет Гамлет!! Но Гамлет мертв, я это знаю?! Я нес крышку гроба его! В паузе мы встречаемся... Все тот же он... не умиравший никогда. Во взгляде моем он слышит вопрос, говорит: «Это была ошибка... я просто уснул... Почему мы редко видимся с тобой и мало говорим... Надо чаще видиться и разговаривать... Доиграй за меня второй акт, будь любезен, а я — в Америку...» Подумал и согласился с собой: «Ну, что ж, в Америку, так в Америку». Какую Америку, думаю, почему в Америку?! А-а-а... Вояж в Америку?! Да ведь это же Свидригайлов его!! Вон какая у них Америка!! Тут мой сон обрывается и холодно мне всякий раз... За какими горами моя Америка?!

Хорошо, что сегодня бессонница. Надо записать Витькин рассказ. Я включил магнитофон и долго шептал в микрофон сюжет о платочке с землей и ночные комментарии. Земляк проснулся и, ничего не понимая, ошалело смотрел на меня. Потом я собрал на всякий случай все свои грамоты, какой я есть распечатный милиционер, надел лучший костюм и решил ехать с Витькой на Новодевичье скандалить. Но когда рассвело окончательно, пыл поулег, а уж когда к воротам подкатили, совсем исчез.

Чего скандалить, думаю, для чего, зачем и по какому, собственно, праву, когда неясно, кто тут больше виноват, — лишь бы пустили...

Нас пустили и проводили к могиле. Могила как будто прибрана только что кем-то, в живых цветах под целлофановой пленкой. С левого края портрета — гроздьва калины.

Витя приподнял краешек целлофана и высыпал из платка на могилу алтайскую землю. И заплакал. За ним и я. Выходит, не зря он ее хранил, берег и вез за тысячи километров, веря, что к земляку он когда-нибудь все-таки придет, через все расстояния и придуманные препоны.

— А скажите, прав я или нет? — остановил нас при выходе полевой дежурный, веселый кладбищенский философ, как выяснилось, и книголюб. — Ведь Шукшина имел в первую очередь в виду Высоцкий, говоря:

Ушли друзья сквозь вечность-решето,  
Им всем досталась Лета или Прана,  
Естественную смертью — никто:  
Все противоестественно и рано.

А я спорю с ним. Рано... еще ладно. А почему противоестественно? Ведь не с Эвереста слетел, не с печки, об лавочку, а ручки под щечку — и затих. Прав я или не прав? Рано? Он мог бы еще много сделать? Написать, сыграть, снять? А зачем? Это, что, повлияло бы на наш прогресс? Чувства добрые, что ли, он в людях пробуждал? Передвижники были убеждены, что если каждая баба повесит у себя в избе хоть одну их картину — и культурное самосознание у нее переменится. Сейчас телевизор в каждом доме, а самосознание бабы, если судить по моей... Когда бы каждый занимался своим, отпущенным ему делом — это и было бы нравственно. И хватит с каждого. Кто-то из классиков, не помню, мысль примерно высказал такую: каждый класс, профессия имеют мораль свою собственную, которую они нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно. А иначе мне тогда не надо было бы идти в милиционеры. Неужели я родился для того, чтобы тут стоять и не пускать вас к мертвым? Так же и он... Не лучше ли ему было потратить время и сердце на воспитание из своих дочек человек, а не размахивать кулаками перед лицом их матери и на их глазах. Да не возмущайтесь, ребята, не делайте вид, что вы этого не знаете. Я люблю вашего земляка не меньше, чем вы. Не надо его защищать и приукрашивать, он не нуждается в этом. Толстого он вам не заменит, а Шукшиным останется...

И хоть ни спорить, ни винить никого нам не хотелось, решили мы все-таки зайти в Управление и выговориться — быть может, и наши речи будут пользе навстречу.

— Понимаете, как выходит-то все по-ненормальному, — пытались передать мы свои корявые чувства заведующей кладбищем, которая и без нашей морали давно все понимала и знала, но терпеливо внимала нам, такими мы выглядели, очевидно, немощными и израненными, особенно после лекции философа-книголюбца. — У Рязани — Есенин, у смоленских — Твардовский, у Ангары — Распутин, а у нас — Шукшин. И вот человек год собирался, деньги копил, откладывал на дорогу, чтоб поехать поклониться последнему приюту земляка, омыть, так сказать, душу свою его наказом, а по возвращении детям передать, чтоб хранили землячество и дальше несли память о родине, — а ему тут такой «привет». Покой покойников бережем, и это замечательно, но и живых утешать надо, а так... бессердечность какая-то...

— Мы узнаем, кто дежурил вчера, с кем ваш товарищ не нашел взаимопонимания и почему. Что поделаешь? Нет у нас еще полного

контакта с охраной: мы их подозреваем, они нас проверяют. В некотором роде — двоевластие. Со временем образуется, думаем... Не принимайте частный случай за общую картину... Передайте всем на Алтае: пусть приезжают, всех пустим к земляку, никого не обидим.

На прощание она написала нам постоянные, вечные («Дети ваши будут ходить!») пропуска на кладбище.

— А номер могилы внесите своей рукой. Номер вашей могилы 1-3-3.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С чего начал я рассказ и к чему пришел... Что я хотел сказать и сумел ли... Что я замысливал, я как будто знаю. Подчинился ли замысел моему умению? Я мучаюсь отсутствием нужных слов для выражения моих и без того путаных мыслей. И я мешаю жанры. Одно мне ясно — жизнь сначала не начнешь. Да если и начнешь, опять время расстреляешь на потребу момента. И в результате время расстреляет тебя. Где я? Одной ногой в деревне, другой в городе, и чем больше дней проживается, раздерегта увеличивается. Образование зафиксировано дипломом, образованности нет.

Тоска от суеты зеленая, от телефонных звонков, от билетных забот — кому в театр (детсад, магазин, поликлиника), кому на транспорт (самолет, паровоз, автобус), от забот благотворительных... А кому-то телефон выпросить поставить (концерт шефский дать, в театр на «Мастера и Маргариту» сводить), за кого-то в исполком за жильем сходить, в жилконторе похлопотать. Мука беспросветная оттого, что по каким-то не твоим причинам ты играешь не то, что любишь, а репетируешь не то, что хочешь, но надо. А тут еще лепишь дачу, на которой жить некому и которая заставляет тебя бегать по бесконечным заработкам рублевым... и не читаешь книжку, и не пишешь строку, нужную хотя бы детям твоим.

Кто кричит, что у него нет времени делать главное, тот, по-моему, безбожно врет. Значит, оно ему не нужно, нет у него этого главного, ему нечего сказать, и он легко находит возможность и оправдание разменять свое время на медяки. И свалить все на жену (которую вот уже три года не можешь заставить связать тебе варежки).

От всей черноты этой и вопишь в поту по ночам: «Не могу так жить, не могу, не хочу... не хочу и не буду!»

А поутру все сначала. И все-таки...

И все-таки ты не прав, кладбищенский охранник. В сорок с лишним или без — это и противоестественно и рано. Не о долгожитии хлопочу, тем паче о небожитии. Но погулять на свадьбе у дитя своего да на внуков взглянуть — это ты человеку отдай. Василий Макарович не успел

этого. Похоже, он и не торопился к тому. Он спешил в другом. Он не был рабом вещи, гнезда, рабом ложной идеи. И теперь землячество его — вся разноязыкая семья наша и даже дальше! И это правда.

## СТАРИКИ

### Из историй давних, невероятных

#### I

Это было давно. Лет тридцать назад. Теперь такого не бывает. Мы излечились от многих бед, доставшихся нам в наследство от тьмы веков. Но слова из песни не выкинешь. С героями этой истории я пересекался пацаном на узком пространстве села нашего. И все же кажется мне, что они-то жили-были еще при Горохе-царе, задолго не только до моего рождения, но и до рождения того, от века которого считаем лета.

Семидесяти с гаком лет «отстрелялся», отошел, как говорится, к богу Абросим Назин. Почудил он много за свою жизнь, особенно как был моложе, только к старости остепенился, потому приобрел известность и уважение. Был он столяр-краснодеревщик, большой, тайный искусник в своем деле. Выполнял заказы «на века», ввиду того по дорогой цене, и большинству недоступной. Брал их лишь у хозяев района, передавая тем самым изделия рук своих в надежное сохранение. Лицам простым Назин ладил только гробы, ладил бесплатно, но на совесть, как на выставку, и толпа за гробом удовлетворенно примечала, что «гроб-де сработан дедом Назиным, стало быть, покойника проводили в последний путь по-людски». Гробостроительство было делом разорительным, покойники обирали деда, но, раз застолбив принцип, дед не менял его, а потому хоть и заламывал цены за прочие заказы, но капитала не сколотил даже на собственные похороны.

Для себя гроб он сработал загодя, подновляя его не однажды. Загодя наварил пива двенадцативедерную бочку на свои поминки, но пиво не успело укиснуть впору, как его выпили еще при жизни, по случаю празднования борозды. Дед было засуетился ставить новое, да не успел, слег невзначай и в три дня очоурился.

Хоронили его на троицу. Народу за гробом шло человек с десятков, больше родственники дальние. Старуха шла молча. Одна из баб попробовала было выть, да спуталась и замолчала в неловкости.

Так бы и ушел Абросим тихо, никого не мутя особенно, если бы путь его последний не изгадил Миколай Сычев, верный друг молодости и средних лет, а после — до старости и кончины — враг заклятый. Он за-

мыкал похоронную толпу, держась от нее на всякий случай шагов на тридцать.

У Сычева с Назиным были старые счеты двадцатилетней давности, и все последние двадцать лет их вражда то затаивалась под спуд, то вырывалась наружу.

И вот теперь на мертвую голову Абросима сыпался град пьяных оскорблений, плевков и всяческих, совершенно немыслимых ругательств, сварганных в разжиженном мозгу запоздалой, неуголимой мезью.

Миколай часто нагибался, хватал по пути коровьи лепехи, гусиный помет и швырял ими в толпу, тая сладкую надежду попасть в мертвеца. Когда он чересчур близко подтягивался к процессии, от нее отделялся молодой парень, аккуратно сбивал старика с ног, и тот, несуразно взмахнув костями, шмякался в пыль, как торба с овсом. Недолго лежал затихший, лицом в горячую пыль, заляпанный грязью и позором. Потом поднимался снова: на карачки... на обе ноги... взывал горько — и начинал оплевывание по новой.

Когда Абросима положили в землю, укрыли быстрехонько и разошлись, Миколай натаскал битых кирпичей, хламу разного, мусора могильного и втоптал все это босыми ногами в свежий холм, приплясывая, а после с восторгом помочился в него.

Старик творил нехристианский суд над своим врагом и так затратился в нем, так измочалился мезью, водкой и побоями, что, прикорнув около вражьего бугра отдохнуть, затих навсегда.

Так закончилась эта дикая вражда, нелепая до чертиков. Вражда, застеклившая глаза белым ненависти бывшим друзьям и начавшись давно, с истории невероятной, но происшедшей на самом деле, и хоть комической, но чуть было не увенчавшейся взаправдашним убийством.

## II

После второй германской ворочались по домам уцелевшие мужики: заросшие, прокопченные, бритые, бородатые, с пустыми рукавами, с пуглыми штанинами, искореженные, подлатанные, но... живые.

С шестью ранениями, но на двух ногах, с обеими руками, и даже с пальцами уцелевшими, дошел до родного плетня, до любимой Фетиньи своей Абросим Назин. Руки, зудившие от охоты пилить-строгать, быстро подняли хозяйство на ноги. Нужда по мастеру, чувствующему, кому как угодить своим искусством, была большой, и вскоре Абросим зажил с Фетиньей не хуже других, складнее многих. Но лет через пять после фронта стал ощущать Абросим недомогание в груди: жечь стало грудь, давить изнутри, воздуху не хватало, будто крючок стальной без червя заглотил.

Пошел Абросим по врачам. Год проходил. Врачи лечили, бабки заговаривали — ни хрена, стало хуже. Заподозрили у него рак и направили

с двумя мужиками из заречного села в город, оттуда в областной центр. В центре подозрения подтвердились: у всех троих обнаружили рак, жить им оставались сроки разные, но с гулькин нос, а потому предложено было всем трем лечиться под нож, резать кому чего, отсекай смерть. Велели Абросиму писать расписку, что «мы-де за тебя не отвечаем, коль не выдержит сердце и помрешь — виноватых не ищи».

Абросим такой постановкой оскорбился. Пораскинул мозгами: конец один — год туда, год сюда — значенья не играет, жить заново все равно не начнешь, а подыхать на чужой стороне и не от пули вражьей, а... под ножом доктора-благодетеля неловко как-то, да еще бумагу подписать на себя, как приговор подмахнуть... нет, так дело не пойдет. И он как был, так и явился помирать в свою деревню. Во всех подробностях доложил он свое худое положение Фетинье, та завыла, запричитала, Абросим освирепился, замахнулся на нее в сердцах, да не ударил, осекся и вышел вон.

### III

Приятель его, Миколай, жил на краю деревни, в самой последней, кособоккой избенушке. Знали они друг друга с босоножества, дружили, имели в молодости на случай женитьбы одну и ту же кралю на примете, но, по причине сухорукости Миколая, крала — Фетинья предпочла Абросима. После некоторого разлада дружья сошлись вновь. Миколай имел сердце доброе, зла не помнящее, забыл вскорости обиду и стал в доме Абросима жданным гостем. Но о личной судьбе, о женитьбе своей думать забыл и отправился в дорогу, связующую свет рождения с темнею смерти, один-одинешенек. На войну его не взяли из-за той же немочной руки, и он помогал фронту чем мог — в колхозе, с бабами. К Фетинье заглядывал крайне редко, только по важной заботе, чтоб не заподозрили глупостей промеж них.

Так и вековал один. Сторожил по ночам колхозную конюшню, но жизненный доход ему обеспечивали кролики, в разведении которых он так наострился, что председатель как бы в шутку и вроде всерьез обещал создать для него в колхозе кролиководческую ферму и поставить бригадиром над ней.

Миколай считал эту идею дельной, перспективной, выписал литературу по кроликам, учился, так сказать, «заочно», и уверял всех, что, кабы ему карты да ферму в руки, накормил бы враз всю страну отборной крольчатинной.

Когда Назин заскрипел калиткой его двора, Миколай, потный и злой, полчаса как бился со своим кролом над покрытием некой крольчихи из школьного уголка юных натуралистов. Крол-производитель у него был отменный: сизый, с отливом цвета морской волны, сильный и больно охочий. Потомство от него шло обильное и крепкое, если не роняла мать, и с каждого помета Миколай имел маленького крольчонка.

Производитель работал, как выражался его хозяин, плодотворно и «с процентом». Но последняя тварь попала совсем молоденькая, а уже пуганая: забивалась по углам, поджимала хвост, не оторвать руками, и терпеливости оказалась звериной. Крол гонял ее долго, без устали, кушал, ласкал, припугивал, но впустую, барабанил от бешенства лапами, как строчил из пулемета на второй германской Абросим Назин, измаялся и обмяк. Миколай схватил крольчиху за уши, отдал смущенному пионеру и раздраженно пояснил, утирая потную шею: «Пошла она к черту, скромница проклятая. Выбрось ее, проку от нее никакого не будет, а производителя портить напрасным горением куда годится!» — И пионер, подавленный неудачей, ушел.

Абросим достал из кармана бутылку «светланки», Миколай поставил свою, нацедил банку «стенолаза» напополам с гущей, подал хлеб, с полдесятка яиц, утрешней картошки, друзья выпили и молча жевали.

Миколай знал уже о смертельной болезни Абросима, но притворялся, что не ведает, и старался не намекать. Абросим ёрзал, сморкался пронзительно, громко чавкал и никак не мог приступить к делу, из-за которого явился. Наконец, ковырнув второй стакан, побагровев от натуги или неловкости, вперившись глазами в порог, сказал, как плюнул: «Сдохну я скоро, Миколай. Хочу проститься». Миколай поперхнулся, как по затылку вдаренный, и застекленел с недонесенным стаканом. «За моей Фетиньей ты шастал, помнитса, нововил себе ее присвоить», — продолжал Абросим. «Перекрестись, когда это было», — засуетился Миколай. «Ай, забыл, ай, забыл, бесстыжий пес, шастал, шастал. Я всю вашу породу кобелячью знаю. Ты и не женился из гордости, что она меня предпочла». Абросим нарочно закусывал удила, говорил дерзко, чтоб озлиться и не выказать жалости к себе.

— Ну, ну, бреши, бреши. Тому лет тридцать назад, может, и было чего, да больше крапивой поросло, а за давностью амнистия мне полагается.

— Полагается, да не совсем. Помру я скоро, как губительный сидит в моей груди, гложет... болезнь такая новая есть, на второй германской я, однако, нажил ее. Врачи жить не обещают мне.

— Не верится чтой-то, на тебе пахать еще вовсю можно.

— Это с виду. Внешность обманчива. Врачи ноне ушлые, образованные, магнитами нутро проглядывают, да я и сам чувствую: околею скоро.

Миколай освоился с темой и сам в уме водил, вертел шариками:

— Струмент мне свой отдай, слышь, на кой черт он тебе на том свете?

— На том свете он мне ни к чему не сгодится, это ты правильно заметил, но ты и на этом одной рукой им не больно наработаешь, разве спекульнешь невзначай. Но на струмент ты не зарься, у меня для тебя товар поинтересней имеется. Знаю тебя я с малолетства за хорошего человека, а потому отдаю тебе свою любимую Фетинью, тем паче, что, помнитса, ты шастал за ней молодым.

— Рехнулся ты, Абросим, или пьяный вконец — блекочешь чтой-то

непутевое. Баба мне твоя ни к чему не нужна, я один приучился ладно жить, отнял ты ее у меня по закону, смирился я, как видишь, и другом лучшим считаю тебя, хоть и тоскливо иной раз воеет ветер в трубе...

— Не забижай меня, Миколай, не забижай. Я те покель ничего плохого делать не собирался да и не стремился. Тебе еще жить да жить, и ее век длинный. Вдвоем вам веселее будет вечера коротать, вспоминать меня добрым словом станете. Баба она смирная, на все руки: и похлебку сварганить, и рубаху залатать, и капусту засолить будь здоров. Ласковая очень, слова худого от нее не услышишь. Бери, не боись, такой золотой бабы нет больше во всей земле, перекопай хоть всю насквозь — не найдешь...

Миколай погрустнел вдруг:

— Да... расхлебачилась, а совсем расхлебачилась твоя жизнь, Абросим... И сколько баб у тебя было, как у дурака махорки в кармане, как по клюкве, шел ты по бабым сердцам — так и брызгал в сторону алый цвет.

— Потому верь мне и не упирайся, бери Фетинью теперь. Много я не возьму с тебя за нее: три ящика «светланки» — и дело в рукавицах!

— Ха... ха... ха... Ох, усохни моя душенька!!! Очумел ты, совсем очумел! Не страмись ты, Абросим, не страмись!

— За такую бабу, ты не смейся, глупый, разве такая цена?! Да и не цена это вовсе, а выкуп, просто калым за нее... За вашу жизнь счастливую в дальнейшем буду пить я в одиночестве, чтоб не чувствовать приближение смерти мерзкой.

Абросим размяк, тон его с категорического перешел на душевный, просительный.

— Пожалей ты ее, Миколай, она хороший человек. И подумай, весело ли ей в пустом доме остаться. Хранить она тебя, как стеклянную посуду, станет, а уж домовитая... не узнаешь свою конуру, Миколай.

— Три ящика много, не наскребу на три.

— Два давай, черт с тобой, вымогатель проклятый. По рукам, и на Покров день жди свою птаху, но прежде водку выставь, всю сразу!

Миколай поскребывал кадык. Скреб он его в ответственные моменты на крутых поворотах жизни, когда требовалось принять мудрое решение. Абросим знал это и гнал лошадей:

— Жизнь, Миколай, дается нам один раз, и прожить ее надо с моей Фетиньей.

Последние слова окончательно сломили робкую оборону Миколая. Он и сам не представлял своей жизни с другой бабой...

Но внутри его жили сомнения на свой счет:

— Она ведь тебя слушается, а я ей кто? Лет тридцать назад я был готов принять ее в свой дом, а теперь? Засох совсем для такой жизни, не нужен, ни к чему я ей.

— Да ведь и она к тебе не девицей явится. А рядом с хорошим человеком и состариться, и помереть не страшно.

— Но чтоб по-людски все вышло, по-хорошему чтоб, строчи бумагу.

— На что?!

— Как на что? Дело не шутовое. Без обману чтоб, без хитростей. Бумага заверит законность нашего уговора... Она это... вроде загса будет, что баба твоя передается мне в личное пользование без возврата.

— Наверде лигистрации, что ли?

— Вот, вот. Документ должен быть у меня на нее, да не забудь в бумаге указать, чтоб не прекословила мне.

Миколай подал тетрадку, пузырек с чернилами, примотал к карандашу ржавое перо, и Абросим сочинил свое завещание.

### *Расписка Абросима*

«Я, нижеподписавшийся, Абросим Назин, с одной стороны, и Миколай Сычев, с другой, заключили между собой уговор на том основании, что по случаю моей скорой кончины, по причине неизлечимой болезни — рака, которую засвидетельствовали доктора в областном центре и прибижение которой чувствую неизменно сам, передать мою дорогую Фетинью, преданную подругу моей порожней жизни, Миколаю Сычеву, вышеуказанному, на вечное пользование и охранение от бед при старости. Фетинье велю слушаться Миколая, как самого меня, за что с него причитается два ящика водки по 40° в виде выкупа».

Миколай внимательно изучил документ и схоронил его за портрет вожда в важнейшие бумаги и кролиководческую литературу.

Приятели ударили по рукам, допили водку и расцеловались. В сетях, глотнув ковш холодной воды, Абросим давал последние наставления:

— Будь ласков с ней... не приставай пьяный — не любит. Напозволяешься и ложись — либо с глаз долой.

— Ладно, не верещи, знаю...

— Веников готовь березовых больше, мои заberi в дровеннике, париться она любит очень, после бани «светланки» поднеси.

— Об этом не беспокойся. Со мной, не с тобой жить, с иродом. Твоей бабой быть — должность собачья.

— Ну об этом ты покамест понятия не имеешь, опыта у тебя никакого, а потому не мели на мели, слушай и усекай. Шибко хапучая она до ягод, до грибов. Не пускай ее. Бабы по секрету донесли, будто задыхается она совсем, когда бежит с ведрами по кустам, чуть не померла однажды. И не жадничая ни капельки, но не любит, чтоб добро пропадало зря, а потому впереди всех всегда чешет и берет ягоду без устали, у кого ведро, у нее — два. Смотри, не вернется когда-нибудь. Черт с ней, с ягодой... Ну и все, живите с миром.

Друзья похлопали друг друга по хребтам, и Абросим, покачиваясь, направился со двора. Миколай заложил воротца на крюк и закопал к своему хозяйству.

Зверюшки глядели сны, посвистывали от удовольствия и не подозревали уже разразившейся над ними беды. Хозяин объявил производителю и всей честной компании, что с завтрашнего дня жизнь его повергается сначала, и в этой новой жизни они не предусмотрены по смете. Он распустит их всех до единого и обзаведется нормальной скотиной, может, даже коровой, благо доить теперь будет кому, и тут же, на мешке с молочаем, блаженно заснул.

Три месяца с Покрова дня отчаянно пил Абросим, ждал кончины своей.

Три месяца жила Фетинья у Миколая, ела крольчатину, изредка навещалась к Абросиму протопить хату, сготовить поесть. Миколай взревновал и не стал пускать ее, но зато стал навещаться к смертнику сам.

Абросим уже опорожнил не два и не три ящика, но не помер, требовал водки еще и еще, клялся, что не протянет и неделю, но... недели летели, а он все еще оставался на этом свете.

Ожидание встречи его с костлявой выходило разорительным для обеих сторон.

Изда так иногда выстаивалась непротопленная, что вода в ведре замораживалась, и стоило удивляться, как Абросим не помер от холодов. Когда же в просветлении затапливал он печь, изба наполнялась дымом непролазным, и Абросим шарил по ней, согнувшись пополам. Давно прошел срок, отпущенный врачами Абросиму для окончания его земных дел, но похоже было, что он не собирается закругляться. Больше всех дивился он сам и, чем дальше, тем чувствовал себя гораздо лучше.

Пришла весна, смахнула снег с полей, распрудила реку, и Абросим с первым парходом отбыл в сторону областного центра.

К величайшему удивлению врачей, признаков рака у Абросима не обнаружилось, внутренности его загладились. Врачи не верили своим приборам, а глазам подавно, проверяли Назина снова и снова, но рак исчез, как будто и не ночевал. Выспрашивали у него методы лечения, рецепты, способы, но Абросим только щерился и бубнил одно и то же: дескать, пил «светланку» — выжег, пил «светланку» — выжег...

Мужики, с которыми он приезжал на лечение прошлым летом, отдали концы, один под ножом хирурга, другой дома. Абросим крикнул то ли от жалости, а скорее от удовольствия, что сам спасся ненароком.

По завершении всех осмотров потребовал себе Назин справку, что не померт теперь от рака, поскольку рака нет, а потому годен снова для дальнейшего продолжения семейной жизни.

Была ли у него такая справка, никто толком не знает, но будто бы махал он чем-то вроде этого под носом у Миколая, когда заявился к нему отбирать назад свою Фетинью.

С этого момента вся их дружба давняя пошла прахом, и началась смертоубийственная вражда.

Абросим приходил за Фетиньей не единожды, пробовал разные маневры, но безрезультатно. Миколай принял решение не пускать соперника на порог. Тогда Назин прибыл под окна молодоженов с ружьем. Залег поудобнее на травке, достал початую бутылку, разворошил узелок с закуской и стал палить в небо. Пальнет — глотнет — закусит, пальнет — глотнет — закусит... Абросим брал на испуг, ждал, что Миколай выбросит белый флаг, капитулирует, расстрелял весь патронташ, но Фетинью не выкурил. Фетинья и не хотела возвращаться к Абросиму, в отместку ль за продажу, а может, старое что засвербило, раннее откликнулось. Приглынулся ей больно Миколай своим обхождением ласковым, сердцем теплым, внимательным. Тогда Абросим воротил ее коварным, захватническим путем: пригнал бичом, как заблудшую корову, воспользовавшись отсутствием хозяина. Водку Миколаю не вернул ни натурой, ни деньгами и пригрозил в случае бунта оторвать здоровую руку.

Миколай ходил по инстанциям, жаловался на Абросима, писал письма, показывал расписку, но никто не имел к нему сочувствия, не принимал его притязаний на Фетинью всерьез и сочли Сычева тронувшимся с ума. Глубоко-далеко в душе своей нараспашку замуровал Миколай злобу лютую, затаил месть и мучился жутко, потому что был добр и сердоболен по натуре. Но втоптал его в грязь, надсмеялся, вывернул душу своим мерзким поступком подыхающий червяк — Абросим. Опозорил перед всем миром. Дважды дал пощупать счастья обыкновенного, мужицкого, теплого и отобрал, как у голодного, которому дали сладкий кусок и, только вкусил он его, вырвали, надсмехась...

От таких мыслей мрачнел Миколай, выл волком, скулил щенком, но укусить не мог, уж больно легок он был. По ночам придумывал он Абросиму страшную месть, не спал, маялся, ходил вокруг вражьего дома, хоронился, ждал случая... Но вставало солнце, приходил день и растапливал заготовленные козны, и стыдно делалось Миколаю за ночные мысли свои... Но на смену дню шла ночь, и снова мучился Миколай. Несколько раз он пытался подняться, уйти из села в другое, но не смог одолеть сердечного притяжения. Упросил председателя вернуть ему должность сторожа, днями же напролет сидел в своей конуре. На народ выходил редко, в большинстве в сельпо. А уж после домой чуть тепленького доставляли добрые люди. Однажды Миколай осмелился спалить назинское сено, ушел в луга да спяну перепутал стога и сжег чужое. Стали таскать его по судам и чуть было не засудили, да удалось отбрехаться, что не нарочно спалил, по нечаянности, а от хозяина отбоярился деньгами, кизьяками и чем попало.

Летом, как-то в жару пустил он Абросиму в нужный узел своедельских дрожжей, параша закисла и затопила «добром» всю ограду. Назин почувял, чьей руки это мероприятие, ворвался в миколаеву избенушку и жестоко избил его.

Во вражде, в подобных штуках и состарились оба, и померли разом почти...

Фетинья пережила их недолго. До конца дней своих плакала одинаково по обоим, а как стала помирать — просила положить ее в могилу к Миколаю. Просьбу ее уважили. Положили. И наступила гармония. Единственно, однако, возможная в здешнем мире — гармония отсутствия.

## КОМДИВ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

### Рассказ-быль

Комдив — сокращенное название должности командира дивизии в пехоте или кавалерии. Однако в данном случае речь идет о командире Н-ского Отдельного гвардейского минометного дивизиона в Великой Отечественной войне.

Подчиненные в дивизионе почти всегда называли своего командира комдивом. В дивизионе — две батареи по четыре боевые машины в каждой. «Четырнадцатый» — код, шифр командира. Отдельный дивизион имел свой штаб, свою печать и бланк с грифом «Отдельный», потому что по приказу командующего фронтом мог в любое время быть выделенным из своего полка и приданным другой армии, с которой воевал и два, и три месяца, как того требовала обстановка.

*(Для справки)*

Комдив сидел на голой земле в квадрате 360, на опушке Черного леса, прислонясь соленой спиной к шершавой большой березе, которая, оторвавшись почтительно от основного массива, являла собой, по-видимому, межевой столб — за нею сразу начиналось поле зеленой ржи.

Комдив вслушивался в молчание леса, в шум жита, в шелест березового листа над собой, всматривался в голубизну июльского неба, в свою нутрь и старался уяснить себе, что смяло его настроение. Был он родом из Харькова, коренаст, в кости упруг, с густой копной светлой шевелюры и глазами небесного цвета, когда над украинской ширью ни ветра, ни облачка. Шел от роду комдиву двадцать пятый год.

С утра им владело превосходное настроение. Быть может, как никогда, он чувствовал жизнь и близкую победу. Победу он чувствовал всегда, даже когда драпал. Но в последние месяцы от ее распирающего душу

жара и неминуемой близости ноздри его особенно раздувались, и крылья их опадали лишь в короткие затишья сна. И вот веселье в крови, такое крошечное с утренней зари, угасало теперь. Сутки тому был взят Минск. Три часа тому еще он получил приказ занять позицию в квадрате 180. Прибыв в означенный квадрат, расположив дивизион гвардейских «катюш» в густом кустарнике, комдив сообщил фронту: «Пришел в гости, сажусь за стол». «Хорошо, четырнадцатый, отдыхай», — был получен ответ. А через малое время к его запыленному трофейному грузовику, трансформированному под штаб-квартиру, подбежал заморенный связист из кержаков: «Товарищ капитан! Вас к рации! Срочно!»

Из наушников хрипело: «Лафет... лафет... Я — капсоль... капсоль... как слышите... Прием!»

«Капсоль! Капсоль! Я — лафет, слышу хорошо! Прием!»

«Лафет... лафет... приказываю: немедленно в квадрат 360!»

«Товарищ сотый, я вас понял... но — не может быть?!»

«Я тебе, так твою и тому подобное, немедленно в квадрат 360, немедленно!»

Ну что ж, по машинам — и снова отступление, снова назад, к себе в тыл, километров на сорок с лишним... Что за причина?! Приказы, как известно, не обсуждаются. Но когда приказ выполнен, подумать не возбраняется.

Вот он — квадрат 360. Впереди Черный лес, растянувшийся вдоль шоссе на двадцать три километра, позади зеленая рожь. Тишина... Несусветная тишина: ни тебе выстрелов, ни бряка железа, ни воя мин, ни посвиста пуль — загробная тишина. Кстати, какая она, эта загробная тишина, век бы ее, правда, подольше не услышать. Лес молчит, рожь легко пошумливает, верхушка шершавой межевой березы через листочки с небом связь поддерживает да птички поют. Тишина и покой. Не война — рай. «Так воевать можно, — думает комдив, — когда самое громкое вокруг — стрекот кузнечиков да чириканье птах, так воевать — не навоеваться».

И будто не было никогда финских «кукушек» — снайперов, сталинградского ада и не позавчера был взят Минск. Не было, ничего как будто не было — так тихо и хорошо. А между тем в наградном листе капитана значилось: «Тов. гвардии старший лейтенант Близнюк А. Ф. в дни жестоких боев за г. Сталинград показал себя бесстрашным, мужественным и инициативным начальником штаба дивизиона. Благодаря организации т. Близнюком разведывательной службы, связи и хорошо продуманному выбору расположения боевого порядка дивизиона, несмотря на ожесточенные атаки с воздуха и ураганный обстрел артиллерии противника, дивизион быстро и точно давал многочисленные, уничтожающие сталинские залпы на головы заседающих гитлеровцев, не имея при этом со своей стороны почти никаких потерь. Только за период с 5 по 23 сентября благодаря его точной подготовке данных было дано 106 залпов и уничтожено: до 5500 солдат и офицеров, 64 автомашины с пе-

хотой и грузами, 11 минометных батарей, 3 склада с боеприпасами, 21 станковый пулемет, подожжено 9 танков, много уничтожено обозов и другой техники противника.

В особенно тяжелые дни для защитников Сталинграда, с 24 по 27 сентября, т. Близнюк, невзирая на прицельный огонь артиллерии противника, выводил боевые машины на «ОП» у переднего края и давал губительные залпы, в результате чего было сорвано 7 крупных атак противника, где враг был задержан на длительное время.

Тов. Близнюк 19 сентября лично под непрекращающейся бомбардировкой противника восстановил телефонную связь, тем самым обеспечил выполнение срочного приказа поддерживаемой части по открытию огня по наступающему полку пехоты противника, 3/4 которого данными залпами было уничтожено, а поддерживаемая часть удержала оборонительный рубеж. Командование считает, что за боевые подвиги тов. Близнюк Александр Филиппович достоин правительственной награды, ордена Красной Звезды.

Раз достоин, получай награду, начальник штаба Отдельного гвардейского минометного дивизиона, а потом и дивизион под начало вместо убитого комдива Баскакова.

Нет, он не был рожден для такого обильного пролития крови, он не был рожден солдатом. Больше всего на свете он любил... печь пироги, сочинять салаты, варить «борща» — творить трапезу, одним словом. Потому-то и окончил торгово-кулинарную школу с отличием, а после школы без ведома родителей поступил в музыкально-театральное училище: кормить и веселить людей готовился. Но пришел супостат, и надо было срочно научиться его истреблять, и истреблять помногу, и он обучился этому лихо и люто, потому что жизнь для него стала делом не сугубо личным.

Вскоре после назначения в комдивы Близнюк был вызван «хозяином» — командиром части.

«Вот что, капитан. По точным данным нашей разведки, из пункта этого на пункт этот завтра в три часа дня начнется танковая атака немцев. Ваша задача — занять огневые позиции здесь, здесь и здесь и не пропустить врага». На фронте нет «нет», «не могу», «не знаю», а есть «есть», «слушаюсь», «так точно»... и «кругом». Первое крупное сражение в должности командира дивизиона, да еще против танков? «Катюши» против «тигров» в ближнем бою?! Кто-нибудь скажет: «Не может быть... «Катюша» поражает цель не ближе двухкилометровой дальности». А мы скажем — было! Было и не такое!

Сашко Близнюк страшно любил и отлично знал топографию. Любую местность, любой рельеф, ландшафт и расположение войск на нем условными знаками он наносил на лист бумаги так точно и чисто, что, казалось, оттиск сделан в типографии. Отправляя боевые донесения, выполненные таким образом, будучи еще командиром взвода управления противотанкового артиллерийского полка, он вызывал удивление и вос-

хищение командования умением всепомагающим — точно развернуть на клочке бумаги с учетом конкретной местности начало, развитие и завершение боевой операции, что, собственно, и послужило одной из основных причин персональной телеграммы, которой он был отозван из своего полка в штаб формирования фронта, где и получил батарею «катуш» — «БМ-13» в дивизионе гвардии майора Баскакова. Дальше — начальник штаба этого дивизиона, и вот теперь сам — комдив четырнадцатый. К тому времени дивизион был оснащен уже улучшенными установками, но потерявшими свою маневренность перед прежними. Знание, использование и разгадывание рельефных сюрпризов, где, за какой кочкой что может прятаться, за каким кустом, под каким видом, что может двигаться, какая овражина или, наоборот, выпуклость во что может обратиться, часто выручали в боевой страде ратного работника, бойца Красной Армии Александра Филипповича Близняка.

Получив ту отчаянную противотанковую задачу, комдив с начальником своего штаба, с командирами батарей и помпотехом досконально — на ощупь и шаг — изучил местность, выбрал огневые позиции, указал фронт каждой батарее, определил каждой машине сектор обстрела и дал приказ — зарыться в аппарели и смешаться с землей.

Потом позвал к себе для отдельного разговора помпотеха, или, как его чаще звали в дивизионе, «помпотеша» (помощник то бишь по пешей части), Иван Ивановича Зыбкина, мастера с пятью пальцами на обеих руках, но башковитого — свет не видывал. Помпотеху в августе минуло двадцать два года, и хоть ростом не вышел и в весе остался, как в народе говорят, бараньем (ну чего там — 50 кг с маленьким довеском, это разве вес для мужика?), несмотря на эту молодость и неавторитетный вес, помпотеха все величали только по имени-отчеству: такое уважение к мастеру в народе испокон веку. И в помпотехи-то он был возведен и назначен по случаю, не за выслугу и шибкое образование, а за умение и технический талант.

«Иван Иванович! Для тебя не секрет, а позор, что машины часто возвращаются с огневых позиций со снарядами на горбу...»

«Прости, командир, перебыю, — это забота пиротехника и артиллерийского мастера, что снаряды не все слетают с направляющих, значит... нелады в пиропатронах... от времени или погоды...»

«Я знаю, чья эта задача, и погоду на фронте не заказывают, но, Ваня, если завтра хоть один снаряд в этой позиции не слетит по танкам, мы все с установками и потрохами останемся в этих аппаратах, которые сейчас во спасение себе роем, а враг пройдет...»

«Каждый снаряд проверить надо... каждый... Как? А как... как... А вот как... — вслух думает Иван. — Взять батарейку от карманного фонарика... два проводка... вольтметр, — и к пиропатрону... Качнется стрелка — годна чушка...»

«А с места не сорвется чушка от твоего электричества?» «Случиться может всякое, но другого выхода нет, ведь нет? Сам изложу это дело,

с каждой миной поговорю отдельно, выбракую и доложу. А ты закурай, комдив, как некий петушок поутру горланил, и спать ложись, утро вечера мудренее, сам знаешь...»

К рассвету следующего дня дивизион по фронту будто вымер, и над землей в сторону врага оскалилась замаскированная оборона в 128 направляющих. В ту пору стояла глубокая осень. В ночь ударил шибкий мороз, и земля сплотилась бетоном. Инеем украсились деревья, металл и маскировочные ухищрения. «Этот мороз в подмогу нам, в случае драпать будет веселее, не увязнем, не задержимся», — горько усмехнулся комдив своим паршивым мыслям.

До означенного дела оставалось еще несколько часов. Бойцы томилась ожиданием и тревогой. Многие догадывались, что придется вести странную, неслыханную оборону: «катуши» вместо пушек пользуют, значит, общее положение на фронте невеселое. В такие тошные предгрозя потешный помпотех бессознательно брал на себя неведомо кем возложенные на него обязанности изничтожать неугодный климат в настроении дивизиона, исподволь, как бы невзначай, отвлекая бойцов от мрачных раздумий на живой лад своим неиссякаемым балагурством, подходящим подчас до митинга в честь смены погоды или эмансипации женщин. Всю ночь вместе с артиллерийским мастером проверял он своим самодельным прибором надежность пиропатронов, забраковал уйму снарядов, что не слетели бы с рельсов, когда придет час, и теперь, почерневший от усталости, с глазами, как два березовых, раскаленных когда-то в горне отцовской кузни уголька, взгромоздившись на ящик из-под снарядов, раскрашивал он перед бойцами очередную свою байку, или, как он их величал почему-то, притчу. Притчи его, кстати сказать, разносились окопными лабиринтами по разным фронтам и порой появлялись в армейских газетках за подписью весьма известных литераторов. Иван не сокрушался: «Пуцай воруют, я еще навру, у меня такого добра на всю войну хватит».

«Родитель мой, царство ему, товарищи бойцы, небесное, вместе со мной и с моими соутробниками петушка воспитал знатного! — горделиво вскрикивал Иван с ящика, придавая голосу своему магнетизирующую, загадочную «тембролизацию» — это он умел. — Встав поране, вышел мой родитель однажды во двор трубочку свою покурить и пальцами босыми в росе пошевелил... Да... Покуривает родитель свою трубочку, глядит, а воспитанник его крылышками захлопотал, зенки распялил и бежит что есть мочи через весь двор, торопится, сердешный, вроде бы проспал, вскочил на плетень да как заорет во все свое молодецкое горло: «Растягаев! За товаром! Растягаев! Кукареку-твою, за товаром!»

«Ванька, не ври, это ты был, у тебя горло драное... Это ты орал с плетня с похмелья! — перебил «помпотеша» всегдашний его соперник во вранье Гришка Маслов, тоже свистун отличный, но второй, «ведомый», что называется, командир, между прочим, отличной батареи.

«Гриша! С какого похмелья! Я не только до стакана, до стола еще не дотягивался!» На Маслова зашумели. «Продолжаю... Так вот... Орет мой петух: «Растягаев, за товаром!» — это он будил деревенского лавочника Александра Семеновича, тот как раз жил за нашим огородом. Глядит родитель мой, царство ему, товарищи бойцы, небесное, у лавочника свет замельтешил, стал он запрягать коня своего, чтобы ехать в район за товаром. Убедился петушок, что лавочника он разбудил, с плетня скок и через весь двор во все моща на другой плетень, где жил Микитка Катункин — другой сосед. Человек Катунка был при бедности, но политически грамотный. И вот петушок давай его призывать к действию тоже: «Катунка! Закурйя! Закурйя, Катунка!!!» Ничего другого он предложить ему не мог. А почему, товарищи бойцы? А вот. В гражданскую был Катунка комиссаром в нашей деревне. Тогда, как вы знаете, по всей российской планете буржуев изничтожали. А жил у нас мастер-сыровар. Эстонец. С виду мужик крупный, степенный, и двор у него был не по-нашему чистый, широкий и аккуратный. Вот Микитка и решил его вызвать на сходку и происхождения проверить. А сыровар в это время болел, однако привели его под конвоем с вилами. Поставили сердешного на колени, один партизан стал с дробовиком сзади. Ждут решения комиссара. Решал Катунка долго, кисета два табаку высадил, дым изо всех щелей — горит изба, крепко думает комиссар. Наконец появился на крыльце и сам объявил: «Товарищи! Наша Советская власть и православная религия не хотят проливать больше кровь! Это не буржуй! Он просто истонец, мастер-сыровар, оттого у него и двор с нашими не схож, потому что это истонский двор!» И отпустил сердешного эстонца варить сыры дальше. Может, кто из вас и пробовал его сыр, кому довелось побывать на нашей уральской земле до войны... Ты, Маслово, не хмылься, а угости табачком».

Затянулся «помпотеша» конкурентным табачком и подвел итог притче: «Пришло мирное время. Микитка не состоял больше комиссаром, сидел дома и мучался бездельем. Была у него рыжая кобыленка, работать можно... но... больше всего на свете после комиссарства любил он курить табак. У него во дворе синий туман всегда от табаку стоял, и чудилось часто, будто Катунка и кобыла его рыжая друг за дружкой плавают в нем по двору. Вот петушок и заметил, чем занимается Катунка веселее всего — курит. И что он мог ему предложить с утра натошак? «Закурйя, Катунка!» Умный был петушок, слов нету. Часто лавочник родителю моему, царство ему, товарищи бойцы...» «Небесное-е-е!» — рявкнул дивизион по сигналу Маслово. «Спасибо, Гриша! Я думал, ты забудешь... Часто лавочник спасибо говорил, что родитель мой петушка такого воспитал: он не давал проспять ни лавочнику, ни бывшему комиссару... Ведь тот по целному кисету табаку высаживал, когда петушок будил его рано... А доход от этого занятия кому, смикить, Маслово?.. Пра-а-авильно, Растягаеву, лавочнику... Так что закурйя, Гриша, теперь из моего кисета...»

Потешный помпотех брехал про петуха и не ведал, что комдив давно слушал его и терпеливо ждал, когда тот выхлебает брехню и исчерпает время. И дождался. «Позволь, Иван Иванович, прервать твое слово и про дело молвить!» Иван прыгнул с ящика, помог комдиву взгромоздиться на постамент, и бойцы с удивлением взирали, как их командир чисто выбрит, отутюжен и, несмотря на вековую ратную занятость, бодр и легок.

Комдив глотнул воздух, вырвал ладонью кусок холодного неба, и из-под распахнувшейся как бы невзначай шинели блеснули награды.

«Хлопцы! други мои дорогие! Порадуйте комдива! В ночь минувшую пошел мне двадцать четвертый год! Отпразднуем день моего появления страшным кровопролитием врага... Вон на том дереве я буду сидеть... Жарко станет, трудно или страшно кому — гляди на меня, я скажу, чего делать. В случае моей гибели ты, Маслов, дивизион примешь! За Родину! За землю горькую, за матерей наших! Спалим гвардейским огнем фашистского гада до такого тла, чтоб не только он сам стигнул, а и потомство его в веках не вылилось! По местам! К бою!!»

Спрыгнул комдив с временного пьедестала и, не глядя больше по сторонам, не спеша направился к своему наблюдательному пункту — огромной сосне со сбитой войной верхушкой, где ему привязали старое, невесь откуда взявшееся кресло, укрепили стереотрубу, подали телефон и замаскировали под глухаря.

Немцы — народ аккуратный. Ровно в 15 ноль-ноль семнадцать «тигров» насчитал комдив из своего гнезда. Плавню, плавню, по кочкам пошли танки... Так плавню — загляденье, залюбуешься... А за ними черная, пригнувшаяся пехотная саранча с первоклассными автоматами.

«Закурйя, комдив», — вспомнил про Ванькиного петуха четырнадцатый.

Вынул партбилет капитан, глянул на вложенную в него мать свою фотографическую: «Спаси, матушка и царица небесная... В день рождения сына твоего». Поцеловал карточку, убрал поглубже и прильнул к трубе. Плавню, спокойно, не суетясь, движется армада металла с огнем внутри на рубеж в 128 направляющих, а впереди наша пехота залегла — надеется, ждет, как поведет себя прославленная «катюша» в ближнем бою...

Только дал комдив целеуказание командирам батарей, как видит вдруг: один тигровый умник отрывается от общего порядка и подгребает в его направлении, обходя фронт с ближнего к наблюдательному пункту фланга. Шевельнулась шевелюра у комдива. «Гриша! Ты видишь этого умника?!» «Вижу!» — отвечает Маслов, командир второй отличной батареи. «Попробуй-ка его одним снарядом!» Глянул Маслов в сторону комдива, но перечить не стал. «По отдельному танку! Взрыватель осколочный! Прицел 110!» — командует Маслов первой машине...

...110!

«Отражатель ноль!»

...ноль!

«Угломер 30-ноль!»

...30-ноль!

А «тигр» ползет, ползет собака и прямо на старинное кресло комдива стволом пялит...

«Упреждение полкорпуса!»

...полкорпуса!

«Одним снарядом — огонь!»

...огонь!

И... И... и могучий снаряд весом в добрую чушку — жик-жик, и... башни у зверя как не бывало, и вспыхнула сверхсекретная, бронированная сволочь, и началась катавасия. Не только башню с танка, с панталыку сбил комдив немецкую стратегию. Немцы, конечно, ошалели сперва от такой неслыханной наглости русских: «Пустить минометы против танков — нелепость и самоубийство, на что эти ваньки рассчитывают!»

Но панталык был рассчитан точно. Маслов совсем озверел. Он подпущал танки метров на 700—800, почти к самой первой линии обороны, где окопались наши ребята, и расстреливал танки, казалось, в упор, рискуя поразить осколками своих же.

Девятый «тигр» уже польхал, когда комдива катапультной с креслом и стереотрубной рвануло к звездам российского поднебесья. Он не слышал окончания боя, не слышал, как на всю вселенную хрипел в трубку Григорий Маслов, корректируя огонь за комдива и вызывая подмогу.

Не слышал четырнадцатый, как его, истекающего кровью из четырех ран и с остановившимся сердцем, завернутого в плащ-палатку, положили аккуратно в свежеврытую могилу, как прощались с ним его товарищи. И только когда боец бросил первую лопату дымящейся земли в мертвые ноги его — комдив открыл глаза. И храбрый солдат, уцелевший не в одном смертельном бою, хлопнулся оземь от разрыва сердца. И пришлось его закапывать в этой самой яме, что он для комдива приготовил.

Всеядные казусы на фронте случаются, все равно как в жизни. Однажды стояла жара нестерпимая — где-то с месяц назад до 360-го квадрата дело было, — и уж больно пить захотел командир. Просит воды напиться, старушка одна подсутилась. «Шинок, — говорит, — подожди, родной, я тебе молочка ш холодушкой принесу». Стерегли единственную корову в деревне, в лесу пасли всем миром, только среди детей малых молоко распределяли. Ну, а тут освободители пришли, сам командир главный пить просит. Несет старушка молоко, передает Филипповичу глечик, тот принимает с благодарностью и, прильнув к нему, пьет холодное как лед молоко... И вдруг видит... из кринки, вылупив свои большие глаза, смотрит на него огромная лягушка. Бросил солдат в ужасе глечик на землю, закричал капитан в своим голосом, побелел комдив, как только что выпитое молоко, а к нему товарищи бегут, оружие на ходу расстегивая, а комдив слова молвить от страха не может. Старушка с перепугу,

что убьют, на колени пала, кричит, причитает: «Ведь я ш предупредила, шо молоко ш холодушкой, ш холодушкой, шоб не шкишло...» Разобрались, посмеялись... А комдив, как первую медаль, запомнил эту несчастную холодушку, от которой такого страху натерпелся, что никогда не переживал, даже когда на сосне сидел под прицелом танкового калибра.

Четыре «катюши» потерял комдив в том бою, 19 транспортных машин сгорело. 42 человека убитых и 76 раненых... Сам получил четыре ранения и тяжелую контузию, но бой выдержал, важный, ох какой важный бой... Хотя на войне неважных боев не бывает. Все они — большие и малые — складываются в один единый, в единственный, который и составляет в конце концов победу жизни.

А раз выиграл сражение, сжег врага, отстоял рубеж, получай, комдив, в день рождения твоего орден Отечественной войны I степени и залечивай раны: впереди еще много работы, потому что в наградном листе твоем, в графе «домашний адрес», все еще значится: адреса не имеет, территория временно оккупирована...

Но самая дорогая, самая памятная награда — это, конечно, первая самая — медаль «За боевые заслуги», что он получил из рук самого Михаила Ивановича Калинина в мае 1940 года в Выборге за Финскую кампанию... Оркестр туш играет, Михаил Иванович руку жмет: «Спасибо, друг, что воевал. Мы тебя не забудем!» И медаль на грудь. А тогда медали высоко ценились. Их запросто так, за компанию не давали, заслужить надо было. Кровать его в казарме выделили, сделав надпись на ней, что это кровать награжденного человека. Пойдет хлопец в город в увольнительную ли, по парку ли прогуляться, или по заданию, все равно — два кубаря, три кубаря навстречу и мимо... на строевой шаг переходят... Да что там — комбриги, комкомры честь отдадут. «Ох, сейчас бы в Хохляндию, чтоб девки видели, в галушечной покуражиться!»

Дивился этой чести хлопец: «Что за штука? Старшина объяснил: «Не тебе, Сашко, они честь отдадут, а награде правительственной козыряют, награде Родины нашей за защиту ее». Потом разрядка в полк пришла — одного человека на офицера... в МАУ — Московское артиллерийское училище. Кого? Награжденного в первую очередь, и экзамены сдавать не надо... Стал учиться хлопец — грянула большая война, Отечественная. И вместо двадцати четырех месяцев обучения — досрочный выпуск в восемнадцать месяцев. И... недели галуны, черные петлицы с золотой каемочкой, португя, сапоги хромовые... два кубаря... лейтенант!! Мать честная! Самый момент батьковщину поразить, в галушечной покуражиться! Заглядывались на молодого лейтенанта с медалью и московские страдательницы, а ему на ридной Украине авторитет интересен, а не здесь... Но не тут-то было, воевать надо. «А раз надо, потом покуражмися, скоро... Сейчас мы этому фрицу пойдем накустыляем по-быстрому, не успеет опомниться, и в галушечную отправимся». Чаще всего вспоминал комдив о первой своей награде, чаще всего

о ней — первой и памятной — рассказывал он новобранцам необстрелянным, когда их «на крыло ставил», шутя над собой, что награды у него всегда с галушками неразрывный винегрет составляют.

Вспомнил он об этом и сейчас в квадрате 360, прислонясь соленой спиной к шершавому стволу межевой березы, и усмехнулся: «Наград все больше, а галушки дальше».

«Закурй, комдив», — прервал его мысли Иван Иванович Зыбкин и протянул кисет.

«Ты кисет-то сам вышивал, помпотех, пятью пальцами на двух руках, с тебя станет, или девчоночка твоя какая?» — спросил комдив, скручивая смачную самокрутку.

«Девчоночка... да, сестренка только младшенькая... Нина-Нинок-Ниночка-Нинуля... Сейчас на заводе уж год, считай, прутом железным и огнем по металлу вышивает... Поди ж ты, какая боевая оказалась! Соврала, год себе надбавила и поступила в ремесленное училище в Магнитке... Хотела на машиниста, да больно мала, сказали. Сейчас сварщицей, ничего, хвалится — справляется будто...»

«Ты в инстинкты веришь, Ваня?»

«А зачем? Верь не верь, они существуют, как мы с тобой. Обусловлено природой. Сны — это другое дело. Ты веришь? Нет? И я нет, а сестренка моя верит. Но она только вещи сны видит, исключительно вещи. Как сон, так вещей. Видела она накануне ухода моего на войну сон. По этому сну падает — погибну я, исчезну с земли, а голос мой останется, голос, понимаешь? Это и звук, и тембр, и сила моя. И уже гдей-то парнишка народился, который мой голос ждет... торопит меня, я чувствую...»

«Это все брехня из области церковной монархии, а инстинкт — это дело живое... либо гиблое. Ты слышишь, тишина какая, загробная, а меня инстинкт словно кулаком в шею толкает: не успокаивайся, не успокаивайся!! — Обхватил комдив ладонью свой упрямый затылок и несколько раз лбом своим о колено свое приложил, приговаривая: — Не успокаивайся, не успокаивайся!»

«Так это не инстинкт, а интуиция, уж если на то дело пошло...»

«Ты... когда жрать хочешь неможугу... пишу ищешь во сне и на ощупь, это тебе что, задайся? Интуиция тоже?!»

«Жрать — это инстинкт, девчонок любить инстинкт, оборонять себя — инстинкт...»

«Ну, так и говори на суде!»

Подошел начальник штаба: «Товарищ гвардии капитан, разрешите кормить людей».

«Кормите, пусть едят и отдыхают».

Подошел замполит с уполномоченным контрразведки «СМЕРШ».

«Миша, — говорит комдив замполиту, — что-то мне не по себе, и все вот кто-то в шею толкает: не успокаивайся, да и все тут».

Замполит совет дает: «Ты командир, принимай решение».

Думали все мужики, думали в одиночку, думали разом, и командир принимает решение. «Гриша!» — так звали ординарчика комдива. «Тебе чего?» — Откуда-то, может быть, из-под земли, взялся Гриша. «Гриша! Начальника связи ко мне, начальника разведки и помпотеха... а, ты здесь...»

Скоро начальники прибыли, слушают.

«Товарищ Ершиков,— так звали начальника связи,— вот мое расположение... Тут лес... тут рожь... тут шоссе... там штаб фронта — Корпировка. — Вычерчивал каблуком по земле контуры своего квадрата четырнадцатый. — Проложите три километра связи сюда, три сюда, три сюда. А вам, товарищ Литковский,— так звали начальника разведки,— посадить двух наблюдателей здесь, двух здесь, и здесь — вы, третий. И через каждый час докладывать обстановку».

В армии нет «нет», не скажешь — «не умею», «не знаю» или «боюсь».

Есть «есть» и... кругом, и... выполняй. Через час. «Товарищ комдив! Связь проложена, ведем наблюдение!» «Ну, добре, добре...»

Начальники разошлись. Солнце село за лесом где-то, и лес точно стал название свое оправдывать — Черный, Черный... Народ отужинал. Откуда-то не шибко издали доносился еще голос «помпотеша», который он, по сну сестренкиному, должен будет после гибели парнишке какому-то передать, где-то уже народившемуся. Под трофейный аккордеон этот голос еще тревожил Черный лес дивизионным гимном собственного сочинения:

Разлетелись головы и туши!  
Дрожь колотит немцев, как чумой!  
Это наша русская «катюша»  
Немчуре поет за упокой.  
Пусть он вспомнит мать свою родную,  
Пусть услышит, как она ревет!  
И закажет пятому колену  
Не соваться к нам на огород!

Комдив отпихнулся спиной от березы, поднялся, зевнул, потянулся зверем, так что ремни заскрипели и кости хохлацкие хрустнули, и, твердо ступая, пошел к своему трофейному грузовику, под штаб-квартиру на колесах трансформированному. В нем две кушетки, ковер под ногами, приемник на столе, блокнот, холодный ужин, и за всем этим три богатыря со стенок смотрят и, похоже, видят все. Стянул сапоги, гимнастерку, до нижнего разобрался комдив, такая у него манера, такая привычка была — не мог спать в обмундировании. В любой обстановке походной, во всякую погоду до исподнего снимал с себя все и лишь тогда мог уснуть, пусть накоротке.

Сколько спал комдив, какие сны видел или без сновидений на сей раз обошелся, только проснулся он от дикой стрельбы. Та-та-та-та-та-тив-

тив!.. Вскочил, распахнул дверь, пули у виска — тив-тив-тив!!! В одних подштаниках к телефону под брюхо штаб-квартиры сверзился (ординарчик убитый лежит)... «Алло!! Алло!! Восьмой! Восьмой!»

«Товарищ четырнадцатый! Все погибли, у меня осталось одна гр...р...» — все, что услышал комдив от начальника своей разведки. А из леса, робко сбрызнутого первыми лучами солнца, в июле рано светает, — тучей, черной тучей немцы: автоматы на живот, по колено в тумане и поливают куда ни попадая, — от пуль головы не поднять. «Гриша! — кричит мертвому ординарчику комдив. — Начштаба ко мне!!» А начштаба уже сам бежит перебежками, пригибаясь и круто матерясь. «Федоров! — так звали начальника штаба. — Немедленно все в Корпиловку! Все немедленно. Оставь мне две боевые машины и батарейного Маслова на другой, остальных отводи в Корпиловку!!»

А в Корпиловке... командующий фронтом, командующий армией с надблатательного пункта... понять мало чего могут, нервничают — в шести километрах, в квадрате 360, бой идет, страшный бой! Страшный бой!.. Но... что за чертовщина?! Почти весь дивизион Близнюка в походном порядке приближается к Корпиловке?! И вот уже через время начштаба Федоров докладывает командующему артиллерией армии, которую гвардейский дивизион капитана Близнюка поддерживал: «Товарищ генерал-лейтенант! Дивизион я вывел, а две боевые машины с командиром остались там, нас прикрывают! Так приказал командир... Немцев из лесу туча... должно, лег Близнюк! Установки, ясно, он взорвет, а сам погиб, считай!..»

Сняли шапки генералы, а командующий артиллерией сказал: «Один у меня был хохол, и тому хана!»

А хохол будто только этого приговора и ждал. Не прошло и часа, тут как тут на двух «катюшах» подъезжает — избитый, изорванный, в крови, грязи... Дверь «студебекера» открыл: «Това...» — и хрясь о землю. Честь по чести хотел доложить, но сознание подвело, упал. Начальник штаба фронта кричит, поняв: «Дай ему Золотой орден! Дай ему Золотой орден, оформлять после будем!» Подняли капитана с земли, снял с себя Золотой орден генерал и прицепил его к черной от крови, рваной исподней рубашке гвардейского командира. «Ура капитану!» «Ура-а-а-а!» — рывкнул выстроившийся и почти уцелевший дивизион.

А дело было так. Оставшись с двумя боевыми машинами и группой прикрытия, стал командир от леса пятиться в рожь. В другой машине за пультом управления огнем — командир батареи, отчаянный Маслов. Крутят ручки командиры осторожно, по одному снаряду выпускают, экономят, бьют по верхушкам высоких сосен... Снаряды рвутся и тысячу осколков раскаленных черную вошь к земле жмут. Немцы падают, лежат, ждут, а поднимаются — ребята боевые, что впереди залегли, их пулеметным огнем и гранатами встречают. Так и действовали сообща.

Помогли ребята машинам в рожь спятиться. И снаряды как раз кончились на лонжеронах. Не думал остаться живым в этой заверти ком-

див, а тут почему-то померещилась святая надежда вдруг: «Уйду!» Командует водителям: «Взорвать установки!» Ключ ПУО выдернул, в рожь закинул подале, дверь открыл и только правой босой на землю ступил — хват его за лодыжку цепко: «Гут, русиш официр...» Немцы, сволочи, слева обошли, просочились по ржи и повалили капитана на землю. Глумятся над комдивом, хохочут, хватают за мужское богатство, тащат к межевой березе допрос снимать. Эсэсовский капитан допрашивал. Высоченный детина с глубоким шрамом во всю правую половину пергаментного лица, а рядом в таком же черном костюме, как у большеинства, и белом галстуке — наш, видно, — предатель, переводчик, пустоутробная гадина.

«Сталинград!» — ткнул немец пальцем в свою щеку. Комдив с понятием к шрамам относился. Шкура на нем была во многих местах заштопана. Он сочувственно покивал квадратной, упрямой головой, набычился, повернулся к немцу задом, спустил кальсоны и выставил тому свою задницу со шрамом, как оказалось, примерно такой же конфигурации, что у того на морде; приложил указательный палец к шраму и прогудел: «Сталинград!»

Немец сплюнул брезгливо, и ноздри его побелели от злобы. Быстро развернул он перед капитаном карту и, глядя в упор из своих подлобий, задал отрывисто и отчетливо несколько вопросов.

Пустоутробный холуй перевел, от себя расцвечивая: «Большевицкий лизун! Герр капитан отпустит тебя к едреной твоей матери, а бишься своих, возьмет к себе и выдаст эсэсовский мундир, если ты точно скажешь, где фронт, где ваши части — численность и вооружение, где славные войска фюрера и кратчайший путь к ним... где ваш штаб и далеко ли партизаны... Говори быстро, что знаешь, времени у тебя в обрез!»

«Это у вас времени в обрез, — соображал комдив, — дивизион ушел... две установки не взорвал... а снарядов нет, главное... не разберутся они в них ни хрена, даже если с собой возьмут в черную чащу, откуда свалились... Достиг ли Федоров штаба... успеют ли помочь, пока не угробили?.. Как жажнет сейчас начштаба по этой драной опушке из 96 оставшихся направляющих, какие тогда еще вопросы вы передо мной поставите на том свете, герр капитан?» — мелькало в мозгу у пленного. А герр капитан со шрамом во всю ширь щеки между тем нервно косил на часы и в сторону взглядывал, куда ушли машины.

Кивнул палачу. Тот подогнал «студебекер» к березе, шустро вынул сиденье, из-под него инструменты машинные, разложил их на земле по порядку, выбрал плоскогубцы. Комдива швырнули на сиденье.

«Не хочешь говорить — будешь волосянку петь», — предупредил предатель.

Взял немец плоскогубцы, поднял ногу, зажал ноготь с большого пальца и сильным, умелым рывком выдернул его. Сжалось сердце комдива, будто меж двух кирпичей втертое, ухнул стон из него, в остальном же ни звука... Солнце взошло и так щедро в расширенные очи гвардей-

ского парня свет свой вливало, аж слезы выжмуривало. Со всех десяти пальцев повыдергивал ногти паршивый немец, да так ловко, будто родился для того, чтобы у людей ногти рвать. Ни слова из комдива. Только после каждого рыка вроде утробного всхлипа: кхе... кху... кхо...

«Говори, идиот!!» — кричит холуй. Молчит четырнадцатый. Перевернул тогда палач комдива на брюхо, кальсоны спустил, зажал половинку щипцами... ррраз — кусок шрама сталинградского... ррраз — другой... Отбросит, сплунет и опять не спеша за свое. Все кругом кровь залила, всю рожь затопила, казалось, всю землю, что в другую сторону для комдива вращаться стала, потому что жизнь его коробиться начала. Фашист со шрамом насвистывал русскую песенку «Катюшу» и все чаще с беспокойством поглядывал на циферблат швейцарских часов. Махнул палачу рукой, остановил кровавое рукоделие. «Боли он не чувствует — коммунист... Страхом разжавим рот... к дереву его прикрутите покрепче», — как попка, тупо и монотонно бубнил за хозяином подмета-ло-переводчик.

«Сожгут, зажарят, как Бульбу... вот и конец...»

Обезображенными ступнями комдив уперся в вывихнутые на поверхность корни межевой березы и питал их оставшейся кровью своей.

Человек и земля в единую плоть слились, одною душою стали. И дерево решило: этот человек не убудет с земли никогда, даже если гарью станет и дымом дотянется до Харькова родного и облаком над переулком Короленко проплывет... И помолится мать, узнав в облаке сына, что в чьи-то глаза войдет примером, в чьи-то ноздри протолкнется сутью и зародит новое сердце, такое же бесстрашное и бесконечно доверчивое.

Но враги не собирались его жечь. К чему им эта средневековая казнь? Им нужны сведения! Им край как надо выпутаться из этого чертова леса и к своим пробиться любой ценой. Двадцать восемь тысяч зашло их в панике в лес — и они стали отрезаны от военных действий и никому не нужны: свои отступили в беспорядке, а наши решили не проявлять к ним особого интереса — «Пусть поживут в лесу до прихода нас из Берлина», — но партизаны держали их под прицельным контролем. Иногда не особо большими группами немцы пытались нащупать лаз, коридор, по которому можно было бы прорваться к своим. В один из таких выловов и наткнулись они на дивизион Близняку.

Собаку привели. Огромную овчарку с белым пятном во лбу, худую, замордованную, притравленную на человека. «Последняя твоя молеельня пришла, сталинский лизун, — бесился холуй. — Какой тебе подвиг быть собачкой изгрызенным?.. Отожрет она тебе сперва ухо, потом выест глаз, вырвет промежности... Открой свой поганый рот — и отпустит тебя герр капитан!» Капитан насвистывал «Катюшу». И комдив открыл рот. Окровавленными, спекшимися губами выдавил он из себя страшные звуки:

Из твоих стремнин ворог воду пьет!  
Захлебнется он той водой!  
Кто погиб за Днепр — будет жить в веках!  
Коль сражался он, как герой!

Немец перестал свистеть. «Фас!» Сука рванулась с цепи и махом пошла на прикрученного комдива по коридору из черных супостатных мундиров. Ближе... ближе зверь... пасть клыкастая разъявлена, пена злобная падает лохмотьями с языка... Прыжок! «Гык!» — командует поводырь, и сука, в ладонь не достав лица человека, падает в сторону.

Комдив теплую пасть услышал, источавшую отраву. «Говори!!» — кричит холуй. Молчит командир. Снова отводят зверя, снова летит зверь на человека, и снова команда «назад», когда клыки сучьи едва не цепляют горло четырнадцатого. Видать, этот аттракцион был отработан чисто у них.

«Заген зи!» — вопит в бессилии звероподобный со шрамом — молчание в ответ ему. И снова летит разъяренная сука к березе — и листья кроны дыбом встают, как вмиг поседевшие кудри гвардейского парня.

И повис комдив на веревках. Наконец-то погасло его молодое сознание, но, слава богу, не навек погасло. Очнулся, когда над ним партизанская борода и на весь квадрат и дальше раздражающий душу и небеса вопль Ивана Зыбкина: «Жив!.. Жив комдив, ребята!!!»

Жив комдив и поныне. Девяносто два сантиметра чужой кожи вживлено в его искуроченное тело. Цела и береза.

И редкий праздник Великой Победы случается, что гвардии майор в отставке Александр Филиппович Близнюк не навестил бы своего старого друга — межевую березу. И стоят они в тот день, обнявшись, как кровные братья, и мешается сок березовый со слезами мужскими, а рядом машина с красным крестом на боку дежурит.

И свидетельствует им Черный лес.

## СОДЕРЖАНИЕ

Земляки . . . . .	3
Старики . . . . .	24
Комдив четырнадцатый . . . . .	32

Валерий Сергеевич ЗОЛОТУХИН

ЗЕМЛЯКИ

Редактор Д. К. И в а н о в

Технический редактор Т. Е. А в д е е в а

---

Сдано в набор 13.07.87. Подписано к печати 11.09.87. А 00430. Формат 70 x 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,16. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 2392. Зак. № 1005. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

- Участвуя в лотерее «Спортлото», вы вносите свой вклад в развитие физкультуры и спорта. Сотни спортивных сооружений в больших и малых городах страны построены с участием доходов этой спортивно-числовой лотереи.

- Тиражи «Спортлото» проводятся еженедельно.

- Выигрыш — от трех до 10 000 рублей.

- Каждый билет участвует в тираже двумя игровыми вариантами. Он выигрывает, если с результатами тиража совпадут не менее трех зачеркнутых номеров в одном из вариантов.

**Желаем удачи!**

**Главное управление  
спортивных лотерей  
Госкомспорта СССР.**